



ЮНОСТЬ



9 770132 203600

№7/2020

16+

7

Журнал «Юность» 2020

Литературно-художественный журнал

Журнал «Юность» №07/2020

Редакция журнала «Юность»

2020

Литературно-художественный журнал

Журнал «Юность» №07/2020 / Литературно-художественный журнал — Редакция журнала «Юность», 2020 — (Журнал «Юность» 2020)

«Юность» – советский, затем российский литературно-художественный иллюстрированный журнал для молодёжи. Выходит в Москве с 1955 года.

© Литературно-художественный
журнал, 2020

© Редакция журнала «Юность», 2020

Содержание

Воспоминания	6
Валерия Крутова	6
Клипсы	6
Лишь бы не зима	8
Александр Беляев	10
Вы не красавицы	10
Дарья Протопопова	25
Победительница	25
Юлия Арсеньева	37
Конец романа	37
Чапа	38
Юлия Казанова	40
Башмаки, заведующий дождями и шляпа	40
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Журнал «Юность» № 07/2020



© С. Красаускас. 1962 г.

На 1-й странице обложки рисунок Екатерины Горбачевой «Ночное озеро»

Воспоминания

Валерия Крутова



Родилась в 1988 году. Получила юридическое образование, работает специалистом по информационной безопасности. Участник 18-го и 19-го Форумов молодых писателей, организованных Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ.

Клипсы

– Сумасшедший, смотри, какой! Сидит на мокрой скамейке. Эй, ЧЕЛОВЕК! Челове-ек! Промокнете, заболеете! – Пожилая седовласая женщина перевалилась монументальной грудью через окно, вытянулась по пояс наружу и повернула голову в сторону соседского балкона.

– Да он уже часа полтора там сидит! Вот как дождь зарядил, так и сидит, – ответила ей соседка.

Они покачали головами, цыкнули, причмокнули возмущенно губами и спрятались по домам.

А человек сидел. И даже не посмотрел в сторону заботливых бабулек.

Разве может понять бабушка, которая видит эту лавочку ежедневно из окна, ставит на нее тазик с мокрым постельным бельем, развешивает простыни на проволоке рядом, а затем бдительно наблюдает, чтобы ни один ребенок, заигравшись, не коснулся свежестыранной ткани и не оставил след; разве может она понять человека, который столько прочувствовал на этой самой лавочке?

Веселый смех белокурой девочки на два класса младше, рассказы и жалобы на родителей, остроносые туфли, наверняка мамины, и по-детски накрашенные губы, вот в уголке чуток размазаны. Ее голос и небрежный поцелуй, даже не дотронулась, только помадой мазнула по щеке и убежала. Черт-те что, а не поцелуй. Помада на щеке есть, а удовольствия никакого.

Он тогда влюбился. Щеки розовые, запыхалась, она подбежала к нему, схватила за куртку и выпалила:

– Приходи ко мне ночевать, – и покраснела до пяток, наверное. И пока он тараторил глаза, соображал, что ответить, тихо продолжила: – Родители уехали. И свет выключили сегодня. Сказали, до завтра не будет. А я боюсь. Знаешь, очень. Темноты боюсь.

Он говорил: «Приду! Обещаю», – а сам дышать забывал от волнения.

И когда родителям врал, что идет к другу, и когда цветы в ларьке покупал, тоже дышать забывал. Ни минуты не переставал думать о том, что будет, как вести себя, что говорить, что делать наедине с девчонкой. Да не с простой. С белокурой, на два класса младше.

– Ну все. Теперь я тут, теперь не будет страшно, – немного громче, чем нормально, говорил он вечером и протягивал цветы. Улыбался во весь рот, осматривал небольшую квартиру, заставленную мебелью, полки с книгами изучал. И ее разглядывал – губы не накрашены, платье наглухо до шеи, и глаза, будто вот-вот расплещется, словно сама боится, дышать забывает.

– Я сейчас чай заварю!

– Я помогу.

– Помоги. Надо конфеты достать, я не дотягиваюсь.

Ни минуты не переставал думать о том, что будет, как вести себя, что говорить, что делать наедине с девчонкой.

Да не с простой.

С белокурой, на два класса младше.

Он дотянулся, достал и стоял держал, смотрел, как она заварку сыпала, кипяченую воду лила в чайник, а затем, подумав, резко под кран и проточной водой доверху.

– Кипятка не хватило, – говорила она.

А он потом пил, слова не говорил. Словно пучок сена жевал. Морщился еле заметно от запаха, вкуса, но пил. Он никогда не думал, что чай может быть таким отвратительным.

– А ты чего не пьешь? – спрашивал, глядя на пенку в чашке.

– А я чай не люблю. Вкусно?

– Вкусно...

Она постелила ему на диване, надела поверх платья кофту, застегнула. «Ты только не спи, – говорила. – Сиди, пока свеча не догорит. Я усну, а потом ты». Она убрала старый огарок, зажгла новую свечу, легла, отвернулась к стене и ноги поджала.

Она уже спала, а он смотрел на спящую, слушал, как трещит фитиль, если закрыть глаза, можно было представить себя снова в походе, у костра. Дрова трещат колко и пышут жаром. Смотрел на ухо – мочка маленькая, мягкая, аккуратно дотронулся пальцем, чтобы не напугать, не разбудить. Кожа такая нежная, что он терял равновесие от нахлынувших чувств. Будто падал, темно, летел, и только оглушительно трещали дрова.

Свеча догорела, а он сидел и думал, что ей нельзя прокалывать уши. Слишком мягкая и нежная мочка. «Клипсы куплю, – решил. – Каждый год буду клипсы дарить, но проколоть не дам».

Потом была долгая совместная история и поцелуи, гораздо более основательные и меткие, и помада подороже, и пара детей на двоих, и лавочки в курортных городках.

А теперь его заело. Как пластинку. Хочется бежать из дома и не возвращаться. Но так уже было, он знал, что надо прийти на лавочку, всколыхнуть чувства, вспомнить тот нелепый поцелуй, первый, улыбнуться и обратно к своей белокурой. И цветы по дороге купить.

Человек совсем промок. Он вытащил коробочку, открыл – клипсы с бриллиантами. Двадцатые по счету. Улыбнулся, встал и пошел прочь со двора.

Лишь бы не зима

И лето не лето, весна – не весна. И осень – не осень. Одна зима. И в душе, и за окном. Непроглядная тьма даже в полдень, подходишь к двери, к выходу из дома и понимаешь, что это – не выход. А дверь заперта на замок в два оборота, на щеколду и цепочку. И гул стоит – не разобрать, ветер то ли за дверью туда-сюда об стены бьется, то ли в пустой голове.

И хочется малины. Так хочется малины, что готов сорвать эту цепочку хлипкую, щеколду, и так еле держась на двух шурупах, вырвать с концами, а затем два оборота изо всех сил влево с грохотом. И тихонько, по чуть-чуть в себя запуская воздух, отворить дверь. Приговаривать «лишь бы не зима, лишь бы не зима». Тщетно. За дверью все то же, что и за окном. Тьма непроглядная. Даже в полдень.

Но так хочется малины. Крепкой, крупной, чтобы косточки в зубах застревали – настоящей. А не той, что на зиму с того лета не лета заморожена. Она после морозилки – словно старая тряпка, что на вид, что на вкус. И вот стоишь, вспоминаешь тряпку из морозилки – красную тряпку, понимаешь, что и в магазине настоящую малину не найти. Зима. Злишься... и дверь назад с грохотом. И снова гул в голове, и радуешься, что щеколда с концами не вывернута.

Запираешься.

Гул. Тьма. Зима. И нет выхода.

И знать бы тогда, той весной не весной, знать бы, как холодно будет дальше. Как одиноко. Как страшно. Как гулко будет в пустой голове... И что? Ну знать бы. И что? Будто ты можешь изменить ход своей истории. Личной, не интересной никому, только твоей истории. Каждая история однажды начинается и однажды заканчивается. Лишь бы не зимой. Потому что в этом случае минус на минус никогда не дает плюс.

Хочется распахнуть окно, обе створки так, чтобы краска белая, вздувшаяся, мелкими трещинами покрытая, лопнула и осыпалась на пол хлопьями. Хочется крикнуть в окно что-нибудь гадкое, осыпаться хлопьями, растопить теплым еще телом наледь на асфальте. Хочется выйти, выйти. Но это – не выход. Не тот выход. Не та история, которую хочется услышать, увидеть, прочитать. Прожить, в конце концов. Не та история. Не та, которую хочется написать.

Хочется написать другую, где тьма непроглядная – в плоском экране новеньком. Некогда его включать. Смотреть некогда. Зато есть время смотреть друг другу в глаза. Есть время друг на друга. Есть плюс на минус за окном. Плюс – это две черточки, две – не одна. Не одна.

Той весной было жарко. Было так жарко, как никакой другой весной не было. Солнце палило землю. Пололо Землю. Выжигало лишних с улицы, выжигало слабых из жизни. С каждым днем оно становилось все больше в размерах, приближалось так скоро, что уже в апреле легонько подсвечивало кончики волос на головах редких прохожих. Солнце словно пробовало свои силы. Сожгу не сожгу. Словно играло в прятки. Точнее, в не-прятки. Никуда от него не деться, никуда не спрятаться.

Выходишь на улицу, подставляешь нос, еще белый, солнцу. Ждешь, когда, обойдя период веснушек, солнце высушит нос до шелушения, то красноты, до ожогов. А ты стоишь, закрыв глаза, и ждешь, когда сожжет оно тебя дотла, до сердца. И сердце дотла. Хотя... оно и так.

И малины. Никакой не будет малины. Такое солнце не даст кустам разрастись, не даст зацвести, не даст ягодам жизни. И даже зимой не будет тряпки красной в морозилке. А это солнце – долгожданное, жестокой красной тряпкой висит над тобой и ухмыляется. Ты распахиваешь глаза, злишься, но тарачишься в небо, не сводя взгляда с солнца. И глаза уже не глаза, а красные мокрые тоннели к сердцу. То ли доступ солнцу открывают – сожги уже. То ли победить хотят солнце наглостью, смелостью. И ты смотришь, плачешь, смотришь. Победишь, в конце концов. Солнце сжалится и уйдет за облака, которые напоминают кролика с ломтем сыра в пасти.

«Спой, светик, не стыдись».

А потом, слезами отирая щеки, уши, мажешь сметаной нос обожженный. Столовой ложкой загребаешь сметану – и на лицо. Ведь кому нужна сметана, если малины нет? Нет и не будет. А сметана тяжелыми каплями – нет, не «кап» на пол. «Хрясь», пробивая пол, выбивая его из-под ног. И ты надеешься, что там, под полом, земля. Обожженная, опаленная, но крепкая. Устоять можно. Но сметана тяжелая и Землю может сместить. Не устоять на двух ногах, когда либо плюс безжалостный, либо минус безразличный.

Черное-белое. Черное-белое. Так хочется серого. Спокойного. Скучного. И малины очень, очень хочется.

Александр Беляев



Журналист музыкальный обозреватель, переводчик. Родился в 1975 году в Москве. Окончил МНЭПУ. Сотрудничал и работал в штате в разных газетах и журналах – «Московские новости», «Ведомости», «Время новостей», «Российская газета», Where Moscow, Play, Billboard, «Музыкальная жизнь» и т. д. В его переводе опубликованы автобиографии Эрика Нлэптона и Мэрилина Мэнсона, биографии Джона Леннона, Робби Уильямса, Led Zeppelin, AC/DC и др., а также исследования «Как музыка стала свободной» Стивена Уитта, «Тинейджеры» Джона Севиджа и др.

Лауреат премии журнала «Октябрь» в номинации «Критика» (2017).

Вы не красавицы **Краткая история рок-музыки и тонкое искусство** **комплимента: как их преподавали в советской школе**

В шестом классе я отказался стричься и к седьмому оброс как Кинг-Конг.

Родителей это бесит, учителей страшно бесит, но сделать никто ничего не может. Давно прошли те времена, когда во втором классе наша учительница прямо на уроке постригла двоюродника Сидорова, у которого мать алкоголичка. Сейчас на дворе перестройка, новое то есть мышление для всего мира и нашей страны, как говорит по телевизору Горбачев, для которого у моей матери одно определение: «Бог шельму метит». Мышление явно не для моей мамы и учителей, но они уже ничего не могут со мною поделать. Только отчитывать меня периодически в кабинете завуча. Вот так вот примерно:

- Хорошев, ты опять не постригся?
- У меня прическа такая.
- Так, Хорошев, чтоб завтра постригся. Понял?
- Мне *так* нравится. Удобно в хвост завязы...
- Ты хочешь выделиться! – не дослушивают они.
- Нет, нет. – Спорить бесполезно, они давно все решили. – Просто мне так...
- Ты хочешь от всех отличаться!
- Да нет же, я наобо... – Это по инерции говорится.
- А чего ты орешь, а? – Выводы сделаны, переходим к обструкции. – Ты чего это на учителей голос поднимаешь?
- Я не ору!!!
- И не оправдывайся! Молчи! А то исключим – пойдешь в «тридцатку»!

Школа номер тридцать на Плющихе – для неуспевающих. Для дебилов то есть. Там алфавит только к десятому классу выучивают. Ну или типа того. Точнее не знаю, слава богу. Думаю, вообще не выучивают. Такая у «тридцатки» репутация. У хорошего места такой репутации не будет. Хотя кого-то, уверен, прельщает идея выучить алфавит только к десятому классу. Чтобы на следующий год забыть его навсегда.

К вопросу об учительском мнении обо мне. Фокус в том, что как раз чего я боюсь больше всего, даже больше «тридцатки», – это отличаться. Но именно это я и делаю. В смысле – отличаюсь. Даже – сильно. На уроках физкультуры последним в ряду. Всегда, во всех классах. Один раз предпоследним поставили, но тоже четверть простоял – тогдашний самый мелкий в другой город переехал. Гад. В лучшем случае – предпоследним. Как бы я ни прибавлял в росте за лето, остальные росли быстрее. Так тебя и воспринимают, так к тебе и относятся. Не крут! «Мистер самый мелкий человек», пытаюсь над собою посмеиваться. Самоирония – лучшая защита. Девочки говорят, что я забавный.

Так-то проблем больше никаких. Учусь нормально, по поведению редко «уд.», в основном «хор.». Никто меня не трогает – все знают, что я друг Мишки; Мишка на два года старше, живет в моем подъезде, в школу уже не ходит – отчислили, наверное. Авторитет.

Друзья говорят: ты ж не носишь джинсы клеш и там какие-нибудь замшевые пиджаки с гигантскими воротниками, как предки наши на старых фотках, – вот и не фиг слушать то, что они слушали.

Я как раз хочу быть как все, но, блин, не как все я. Быть мелким очень фигово. Очки, жирность, длинный нос, уши-лопухи – все лучше, чем мелкий рост.

* * *

Родители мои разведены. Мы с матерью вдвоем живем. Недавно втроем жили, но Арк, дядька мой, мамин брат по имени Аркадий, к жене умотал. Думали, не женится никогда, старый уже, за тридцатник, а он вдруг раз – и все. Она с ним в НИИ работает.

Мой отец недавно заезжал – позвонил, спросил, дома ли мы, – я даже не сразу узнал его по голосу. Но явился. Сел на кухне. Я налил ему чайку крепкого «со слонем», из заказа с маминой работы.

Смотрю на прихлебывающего отца. Сейчас он мне кажется маленьким и толстым. А кожа на лице слегка обвисшая, как будто воздушный шарик медленно сдувается. Вспомнился старенький карлик из какого-то фильма, который мы с Одуваном по видуку смотрели. Отец ставит чашку.

– Пап, – подкидываю тему, чтоб не началось про «как учишься», – а я тут музыкой всякой увлекся. *Увлечаться музыкой* – так взрослые говорят. Мы говорим *фанатеть*. Но вдруг старик-отец таких слов не понимает? Хотя увлечаться – дурацкий какой-то глагол, увлечь себя – увлекают в дебри, а я с музыкой, скорее, *нахожусь* – нахожу себя. С собою в мире и покое. Но это сложно, я тогда так не формулировал – позже придумал, когда уже взрослым заставил всю квартиру – не эту, более большую, свою, бесконечными стеллажами с CD, о которых мечтал в те годы, которые тут вспоминаю.

– А, хорошо, – оценил отец. – Музыка – катализатор мыслительных процессов в мозгу. Он всегда так выражается. Я рискнул развить тему:

– Рок слушаю. Классический. Английский и американский. Битлов, цепелинов...

– Питэр, – резко перебил он меня. Кстати, это он, англофил, начал называть меня Питер, потом до меня дошло, что Питер Хорошев – это почти что Пит Бэст, ну я и начал так представляться, погонялово прижилось. – Питер, названные тобою исполнители являются представителями массовой культуры, которая относится к низменному вкусу! При их влиянии ты испортишь себе мозги и вкус... если он у тебя и был когда-то.

Я не понял, что это значит: как вкус может быть низким, это ж не дерево. Да каким бы ни был мой вкус – мне нравится, я тащусь, а отец ничего в рок-музыке не понимает. Он ее, наверное, и не слышал никогда. Замяли тему, короче.

Отец просидел еще с полчаса, ни о чем не спрашивая, попивая чай и роняя ничего не значащие фразы типа «Ну где мать-то? Чо-то она, мать-то, прям это...» Пришла мама, увидев его, не удивилась, не раздеваясь, достала из сумки сложенный вдвое большой серый конверт, который ему и вручила. Отец ушел, мама сказала, что алименты мы больше получать не будем. Я не спросил почему. Не будем и не будем. Нечего нам побираться, и так живем нормально. С отцом я с тех пор не общаюсь. Повода нет.

Да, я действительно люблю древнюю рок-музыку, которую из моих друзей никто не любит, потому что она немодная уже лет пятнадцать. Битлы, роллинги, Queen, Deep Purple, Uriah Heep – я их записи у Арка на «катушках» слушал (или брал, перекачивал на кассеты, слушаю на своем мафоне). Но никого на старый рок посадить не могу, даже друзей. Друзья говорят: ты ж не носишь джинсы клеш и там какие-нибудь замшевые пиджаки с гигантскими воротниками, как предки наши на старых фотках, – вот и нефиг слушать то, что они слушали. А я б, может, и носил бы все те джинсовые клеши, замшевые камзолы и здоровенные очки. В них индивидуальность была, а сейчас все ходят – вроде шмотки разные, но какие-то однотипные. А половина парней прям вообще именно что в одном и том же – джинсы-бананы (пирамида), высокие белые кроссовки симод или корандо, пестрый свитер с вышитым словом BOYS почему-то. Как инкубаторские.

По музыке если базарить – то тут так: друзья тащатся от метала типа Iron Maiden или Ассерт. Это еще не очень плохо, потому что в основном все *служат* Modern Talking, Сабрину, Сандру, Си Си Кетч и прочую парашу с дебильными названиями. Поэтому на дискотеках школьных мне тоже делать нечего – я под такое не танцую. Хотя – хочется. Спасают медленные танцы под «Скорпов».

Да, собственно, волосы я отрастил по принципу «хуже не будет» – так и так выделяюсь, так что лишняя копна на кумполе рояля не сыграет. Да даже если б у меня рог кривой торчал изо лба, это было бы не так катастрофично, как этот проклятый низкий рост.

Когда волосы распущены, незнакомые обращаются ко мне «девочка». С хвостом когда – меня дразнят Малининым, есть такой певец романсовый. Мне-то хочется думать, что я похож на Рика Парфи-та из Status Quo. Но у нас из всего Status Quo одну только песню знают, про армию которая – которую еще этот жирный дебил Сергей Минаев перепел – так что не особые они у нас тут рок-кумиры. Что обидно.

К учительским наездам я привык. Ученику нахамить – для них обычное дело, их как будто в институте этому учат. Метод такой: они делают вид, что с тобой разговаривают, типа понять они тебя хотят, но на самом деле им ничего не объяснишь. Они просто не слушают. А если чуть громче заговоришь, то сразу «Что орешь? Два по поведению!».

Ну да, вот как с вами разговаривать-то? Получается, лучше никак. И пусть мои волосы вас бесят вечно, чмошники сраные.

Так что наезды фигня, реально страшное: «Хорошев, ты что, куришь? А чего не растешь? Не кури – останешься недомерком!»

Все, самое страшное слово я сказал. Дальше ничего такого не будет. А то – ресентимент (это слово я узнаю двадцать лет спустя).

* * *

Помимо Аркашиных бобин, в моем распоряжении еще один архив старого рока: коллекция «пластов» дяди Лёни. Это сосед наш, дверь напротив.

В конце 80-х наш район стали называть элитным – как коров, свиней и пшеницу, – и все местные резко начали квартиры свои сдавать. Продавать тоже, но это уже в 90-е, после приватизации. Вот так мы получили новых соседей по лестничной клетке. Про которых мы не знали ничего. Да и вообще полподъезда народу, с которыми даже не здороваешься – не знаешь, надолго ли они вообще. На нашем этаже из «старожилов», как пишут журналисты-очеркисты в таких случаях, остались только мы с матерью и Лёня. Смурным дядькой он мне всегда казался. По жизни в темных очках-хамелеонах, с бородой, как будто лицо прячет. Ни с кем не здороваешься. Даже с матерью моей, хотя живем – дверь напротив. Однажды я вошел на кухню, где мать с соседкой, Алкой с четвертого, кофе свой горький распивали, вошел быстро, ухватил обрывок разговора: «... живет один, как волк... – Да он *нидораст!*» Последнее слово – это Алка сказала. Я сразу, как мне показалось, понял, о ком они. И тут прям испугался даже.

Через какое-то время увидел, как дядя Лёня выходит из лифта, держа в руках пластинку «Дом голубого света», поднимается по лестнице на нашу площадку. Проходя мимо, я пробормотал – здороваться я не собирался, не здоровались же никогда – «Дипапл, “хауз офф блу лайт”, 1987 год выпуска». Лёня остановился и сказал как ни в чем не бывало:

– Разбираешься!

– У меня есть такая. Только конверт посветлее.

– Значит, наша, советская. А у меня немецкая.

– Здорово, – восхищаюсь, хотя не знаю, чем именно: что у него есть Дипапл или что у него пластинка немецкая, которая по-любому лучше нашей «ме-лодиевской». Но мне правда интересно: – Небось звучит лучше?

– Хочешь послушать?

– Ну, блин! Но вы ж мне не дадите...

– Дать, извини, не могу, – кивнул он. – Но можно ж у меня. На, поддержи.

Он протянул мне этот драгоценный – наверняка! – конверт, полез в карман брюк за ключами.

Я забыл обо всем и пошел за Лёней в его квартиру, напоминавшую темный лабиринт со стеллажами от пола до потолка.

* * *

На физре тоска всегда. То бегаем так, что в груди сдавливают, как от хорошего удара пяткой, то мячики и гранаты бросаем, метаем в смысле, или мечем, как на войне из окопов прям. Кому это надо все. Лучше б нас в бассейн в Лужники водили б.

Сегодня опять подтягивание сдавали. Или подтягивания? *Его* или *их*? В моем случае точно *его*, ибо больше раза не могу – в прошлой четверти, зимой, неужели что-то могло измениться за два месяца? Если физрук так думает, то он отличается крайней наивностью, как сказала бы моя бабушка.

Сейчас май, тепло, самое оно по улице бы побегать, даже я не против. Но нет, бегали мы по грязи, а сдавать подтягивания будем в пропахшем потом и резиной зале.

«Хорошев! – кричит физрук. – Давай, истребитель». И я плетусь к турнику.

Спрыгнув после жалких своих конвульсий с турника, ударился коленом об пол из кривых, жирно вымазанных бордовой, как запекающаяся кровь, краской, поковылял обратно в строй, в конец позорный свой, а физрук мне: «Ну, Хорошев, елки зеленые, ну ты совсем дохлый, как ты девушку будешь защищать от хулиганов в подворотне?» Не хожу по подворотням, пробормотал я. «А в армии как будешь, а?» А не возьмут меня, говорю, по состоянию здоровья. «Да что ты говоришь? Петя, помни: в советскую армию любого возьмут, кто своими ногами в военкомат пришел!» Сейчас, говорю, перестройка. Он махнул рукой: «Советская армия – это надолго. Может быть, навсегда». Сказав это, физрук как-то помрачнел и приказал девочкам подтягиваться. А у них подтягивание халявное – низкая перекладина, тело под углом градусов в сорок пять, пятки на полу, – так и я хоть сто раз смогу. Главное: у девок в такой позе на этом псевдотурнике сиськи видны хорошо.

* * *

Лама с первого класса дружила с Катей Быковой по прозвищу Корова. У кликухи происхождение простое: Быкова, бык, корова... Говорили, что подрайона ее уже отымело. Правда, я вообще таких людей не видал. Ни одного. А говорили те, кто даже свечку не держал (была такая модная присказка, про свечку).

А Лама – она вся такая приличная, интеллигентная. Тонкая. Корова же полная, сиськи рано выросли, лицо круглое, нос картошкой, глаза желтые. Оттеняют друг друга. В 7-м классе это стало особенно актуально: Лама защищалась от приставаний, Корова грелась в лучах ее благочестия, если можно так выразиться.

А вообще таким вот красивым-интеллигентным ламам не везет – приличные парни не рискуют к ним приближаться, уверенные, что облом будет – еще и в присутствии язвительно-грубоватой Коровы, – а в результате брешь пробивает какой-нибудь наглец-сволочь-эгоист.

Корова дружила с Одуваном. Ну как дружила – они менялись жвачками какими-то или даже сигаретами, подозреваю. У Коровы отчим таксист, у Одувана родители по заграницам, и сам он с ними где-то жил, в Алжире типа. Я подумал, что могу спросить Одувана спросить у Коровы спросить у Ламы – самому смешно уже, да, – как Лама ко мне относится.

Сначала я решил взять слово с Одувана, что он никому не разболтает.

– Что именно не разболтаю? – уточнил Одуван. – Чего у тебя за тайны?

– Про... ммм... девушку одну.

– Втюрился!

- Нет.
- Колись, в кого!
- Да не, не, все, иди на фиг, Одуван.
- Отмазался, короче.

Вечером бесконечно слушал цеппелиновский Communication Breakdown. Название песни – прям по теме: никакой у нас коммуникации.

* * *

- Ты куда? – спросила мать вечером.
- К соседу.
- Слушай, – она начала закипать, – не нравится мне, что ты к Лёньке таскаешься!
- А чо такого? Я пластинки переписываю.
- У матери на щеках расцвел румянец, как бледный пион. Сейчас орать будет.
- Вот так и будешь, – она шумно втянула воздух носом, ноздри затрепетали, ну все, мне хана, – всю жизнь пластинки переписывать! Как Лёнька, точно. И ладно бы музыка *настоящая* – а то рок этот дурацкий, ни уму, ни сердцу. Бездельники вы!

Это несправедливо.

- Я школьник. А Лёня инженер, – напомнил я маме. – Лёня как Аркадий наш. И кооператив открывать собирается. Компьютеры паять.
- Напаяет он, как бы ему потом чего не припаяли! Нет, все-таки как люди не меняются – это ж удивительное дело.
- Кто не меняется? – Я перестал что-либо понимать.
- Да что с тобой говорить... – махнула рукой мать.

Иголка бесшумно опустилась на медленно вращающееся виниловое поле. Никаких щелчков, легкое шипение. И вдруг – разболтанная гитара, голос дрожащий и резкий, как наждак.

Она всегда махала рукой, как будто отправляла поезд, когда не знала, о чем еще со мною поспорить и за что меня отругать.

– Действительно, не к чему, – ответил я впервые в жизни так. Наверное, дерзко – с матерью не хочет разговаривать! Но если действительно не хочу. В таком, во всяком случае, тоне.

* * *

– Лёнь, а вот мои родители... – начал я, когда тот распечатывал пластинку «великой американской группы, которую у нас никто не знает». Во внутренностях пластинки – фото, где какие-то дядьки толстые, волосатые и бородатые, как какие-нибудь крестьяне со старинных картин. Grateful Dead.

- Лёнь, – снова начал я, когда пластинка уже закружилась и игла опустилась с шипением. – Вот меня родители чмырят за то, что я музыку слушаю.
- Ну у них же другие вкусы, они не любят ни блюз, ни рок тем более.
- Чмырить-то зачем?
- Да не обращай внимания, родители тебя любят и хотят, чтоб ты учился хорошо.
- Это понятно. Но музыка разве мешает?
- Надеюсь, что нет.
- Вот этот на тебя похож. – Я ткнул пальцем в фото на развороте пластинки. – Ты?
- Нет, это Джерри Гарсия, – улыбнулся Лёня. И вдруг спросил: – Петь, а тебе сколько лет уже? Одиннадцать, двенадцать?

– Четырнадцать, – пришлось мне сказать. Я почувствовал, как щеки теплеют. Вот кто его за язык тянул, а? Получается, меня опять за малолетку приняли. Не кто-нибудь, а друг, можно сказать.

– Как время-то летит, – покачал головой Лёня. – Такой большой уже! А вроде недавно мама твоя замуж выходила.

– Ты помнишь?

– Конечно! Пир устроили...

– Ты был?

– Конечно, мы тогда дружили все. Я, мама твоя, папа, Аркадий... Как он, кстати?

– Да ничего, живет у жены.

– Хорошо ему, – усмехнулся Лёня. – Наверное. Слушай, а тебе девочки уже нравятся?

– Ну... – Я снова покраснел.

– Конечно, нравятся, – улыбнулся он. – Кто-нибудь в классе?

Я кивнул. Блин, вот откуда он все знает?

– Молодец! Ладно, давай я тебе Джона Ли Хукера поставлю.

– Кого?

– Блюзмен великий.

Иголка бесшумно опустилась на медленно вращающееся виниловое поле. Никаких щелчков, легкое шипение. И вдруг – разболтанная гитара, голос дрожащий и резкий, как наждак.

– Вот, – тихо сказал Лёня. – Истоки. Весь твой любимый рок из блюза вырос!

Может, подумал я, и вырос. Некоторые мотивы – прям рок-н-ролл настоящий. Но рок как-то поаккуратнее, что ли.

– “I love the way you walk”, – говорю, – это про чего это он?

– Про любовь, понятно дело. Весь блюз про любовь, тоску и одиночество. – А ты здорово слова на слух ловишь!

– Наверное... – Я облизнул сухие губы. Приятно, черт возьми. Рискну высказать собственное мнение: – Но мне музон чо-то не очень. Не забойный. Не просекаю.

– Вырастешь – просечешь, – улыбнулся Лёня.

Никогда я это нытье не просеку, подумал я.

– Лёнь. А вот что музыка дает человеку? Ну, кроме радости?

– Ну ты и спросил! Радости что, мало?

– Да предки достают: музыка твоя дурацкая, ничего не дает...

– А, вон что, – вздохнул Лёня. – Музыка дает... понимаешь, смотря что слушать и как.

Он провел вниз-вверх ладонью по голове, от макушки к шее и обратно. Волосы как торчали торчком, так и остались.

– Музыка утончает чувства.

– Чего? – не понял я.

– Ну... Меломан не может быть циником, по-простому если.

Я кивнул. Нормальное объяснение. Не вижу связи, не очень понимаю, кто такой циник, но звучит хорошо. Меломан не может быть циником – вверну при случае.

Когда Лёня пошел проводить меня, то, открыв мне дверь, увидел на лестничной клетке маму мою. Совпадение. Мать – с ведром помойным. Которое я обязан выносить.

– Ань, – сказал он ей. – Здравствуй.

– Здорово, коли не шутишь.

Чего это она такими штампами выражается? Мама двинулась вниз по лестнице, к лифту.

– Ань, Петька-то твой молодец какой!

– Да ладно тебе, учиться ему надо... Петь, вынеси ведро.

Неопределенная фраза с железной – в кавычках – логикой. Что это с матерью? Неужели она думает о Лёне то, что о нем говорят всякие... соседки? Мать уже дошла до лифта, не оборачиваясь.

– Он английский отлично слышит, – крикнул Лёня.

Я стоял, не понимая, какого фи́га обо мне ведут диалог люди, которые бог знает сколько лет не разговаривали. Но мне было приятно, честно говоря, что мама и Лёня так непринужденно болтают, как старые приятели.

Мама, уже вызвав лифт, который с далеким глухим лязгом тащился по шахте, обернулась:

– Гены, – улыбнулась мать.

Лифт остановился, дернулся, с тонким противным скрежетом растащил двери.

Вроде я должен был ведро вынести?

* * *

Мы так достали учителей, что они разрешили нам устроить «огонек». Это такая вечеринка, где пирожные с пепси и фантой и мафон с цветомузыкой.

Пирожные люблю, музыку эту попсовую ненавижу. Сижу на подоконнике, гляжу, как девчонки пляшут. Подходит Лама, дергает за запястье:

– Пошли танцевать!

– Ты чо, я не умею. – Запястье высвободить не хочется.

– Научу, давай. Чо у нас такие мальчики стеснительные, блин!

– Позови Чернышкова, – говорю. Руку только не разжимай. – Ему вон делать нефиг.

– Да ты офигел. – Разжала. И сморщилась, как будто лимон укусила.

– Шучу! Да я, кстати, никакой не стеснительный, вот не надо!

И пошел. Охотно даже. Подвигался как-то... В цветомузыке все равно ничего не видно, к счастью. Тут диск-жокей – это недавно так стали называть тех, кто на мафон кассеты ставит, хотя ни дисков у них нет, ни коней, – завел медляк наконец, «Тайм» «Скорпов». Тоже, конечно, фи́гня, а не рок, но хоть что-то. Я уже собрался запрыгнуть обратно на подоконник, как Лама меня обняла за шею и говорит, что сейчас медленный.

– Ты меня не стесняешься? – говорю.

– Ты о чем?

– Ну, я тебя ниже на полголовы.

– Я на каблуках.

– Значит, на целую голову.

– Ну что ты ерунду говоришь. Как тебя можно стесняться – ты хороший мальчик, тебя все любят.

– Не хочу, – говорю, – быть таким.

– А каким хочешь?

– Любым. Только не мелким.

– А мелким – это в каком плане?

– В плане роста.

Я вздохнул; даже если ей непонятно, то чего уж от других-то ждать.

– То есть хочешь быть высоким стройным красавчиком, как Мартин Харкет?

– Ну и фамилия...

– Это солист «Ахи».

– Кого?

– А-га, группа такая, американская.

– А, знаю. Попса. Кстати, они не из Америки, а из Норвегии.

– Да? А чо тогда по-английски поют?

- Чтоб всем понятно было.
- Это, наверное, тебе одному понятно, ты ж спец у нас.
- Чо там понимать – попса ж.
- А я просто слушаю, ради музыки. Нормальная, чо.
- Ну, в общем, да. Не «Модерн токинг» этот дерьмовый.
- Тоже ненавижу.
- Я люблю тяжеленькое. Как цеппелины.
- Ой, папа мой их обожает. У него пластинки даже импортные есть.
- Покажи?
- Легко. Заходи как-нибудь. Короче, ты не комплексуй, понял?
- Из-за чего?
- Из-за всего, из-за чего ты там обычно...
- Я на физре последним стою, как...

Чуть не прибавил «как недомерок». Хорошо, что темно, – моих красных щек не видно. В темноте краснеть – как плакать под дождем.

– Физра, – сказала Лама строго, – это все фигня, не это главное в жизни. А ты, типа, спортом занимайся: бегай, прыгай, на перекладине виси – и вытянешься.

- Правда, что ли?
- Конечно. Куда денешься-то.

Лама приложила мне ладонь на грудь. Я посмотрел на ее руку. Ногти чуть выходят за пальцы. Не покрашены, но это взрослые руки, женские. Лицу моему вдруг стало совсем жарко, хотя мы вроде все растанцевались уже до пара из ушей. Н-да... непонятно, от чего это у меня. А вот, кстати, у Коровы пальчики до сих пор детские, даже когда ногти ее полукруглые вдавленные намазаны модной ядовитой краской.

Тут “I’m still loving youuu” провыли «Спорны» наконец, и Лама меня отпустила. Я взлетел на подоконник обратно. Потом спрыгнул и пошел танцевать быстрые. Больше мы в этот вечер с Ламой не разговаривали. Чернышков валандался от одной компашки к другой, потом засел в углу и, кажется, так в нем и растворился.

Чернышкова все бьют. Недели не проходит без того, чтоб он не сидел в углу и не размазывал слезы и сопли по красным щекам. При том он-то как раз не мелкий, он среднего роста и упитанный. Но бьют его не какие-то там старшие страшные хулиганы, а одноклассники, двое из которых ему в пупок дышат.

А почему, за что – фиг знает.

Просто такой он, Чернышков – такой же нелепый, как буква «к» в его фамилии. Что-то лишнее в человеке. И чего-то не хватает. Лишнее – что он возбуждает и вырубается. Не хватает – собственного достоинства. Он у нас с третьего класса, до того был в какой-то спецшколе, где что-то ему корректировали, типа речь и внимание. На вид вроде нормальный. Хотя волосы слипшиеся по жизни. Не длинные, но и не подстриженные. И слипшиеся. Сразу его не приняли. Ну не приняли и не приняли, пересиди четыре урока и иди домой и с пацанами во дворе тусоваться. Но он принялся отстаивать свое место в коллективе. А в школе это самое последнее дело, потому что сразу обращаешь на себя внимание. Ну вот он и обратился. Мало не покажется. Даже непонятно, чем, – ну подумаешь, сказал кому-то что-то когда-то. Не вовремя. Не тому. И сам такой бледный, потный, волосы эти... Сказал – был послан. Ну и ладно. Сам пошли в ответ. Или забей вообще. Но он подошел ко мне – почему-то – и говорит: знаешь, я б ему сейчас накостылял бы, но у меня брюки новые, не хочу мять. Угу, говорю, брюки новые, забавно. У всех от мастики коленки желтые, а ты, типа, свои бережешь. Звонок. На уроке я расшептал соседу по парте, чо мне Черный прогнал. И на следующей прям перемене Чернышкова уже метелили всюю. Потом это стало ритуалом.

Недели не проходит после очередного его валаданья по грязно-оранжевому паркету в школьном коридоре, несколько дней он молчит, насупившись, как бык, потом начинает с кем-то заговаривать о каких-то мелочах, типа, чего задали, дай списать, типа, контакт налаживает человеческий, но потом снова чего-нибудь скажет. Не тому, не о том и не к месту.

* * *

– Лёнь, ты это, спрашивал, нравится ли мне девочка... девушка какая-нибудь, – начал я.

Он нахмурился:

– Не хочешь – не говори. Я это так, к слову пришлось.

– Да нет, хочу, но...

– Тогда говори, не мычи.

– Так я не знаю, что сказать!

– Тогда молчи.

Во, блин, логика. Мужская. И то верно. Я вздохнул. Ну правда – о чувствах либо говори, если это для тебя важно, либо молчи. Не вопрос этикета тут.

– Она мне нравится, короче. Одноклассница моя. Лама.

– Редкое имя.

– Это прозвище. Так она Наташа.

Лёня улыбнулся:

– Фантазия у вас.

– А я не понимаю, нравлюсь ей или как.

– Спроси.

– Боюсь.

– Не бойсь. Пригласи в кино – и спроси.

– Так просто?

– Ну а чего усложнять-то?

Когда я выходил от него, то дверь напротив, дверь нашей квартиры то есть, тоже открылась, и оттуда вышла моя мама с клетчатой сумкой, в магазин чтоб ходить за жратвой.

– Ань, – сказал Лёня. – Петька-то твой песни чуть не на слух переводит.

– Ну так есть в кого! – воскликнула мать. И порозовела слегка. И добавила тише: – Лучше б он математику учил.

– У него репетитор?

– По математике?

– По английскому.

– Да нет, сам как-то.

– Ну здорово, в иняз пойдет.

– И учителем станет? Да нет, не надо такого. Да и куда ему... Хотя посмотрим.

– Ань, ты знаешь чего? Ты заходи в гости. На кофе.

Сварю, как ты любишь.

– Я не пью кофе. У меня гипертония.

– А когда-то любила. С коньяком и сигареточкой...

Петь, заткни уши!

Я улыбнулся.

– Мало ли чего любила, – вздохнула мать. – Молодость, Левонид, прошла!

– Да что ты говоришь, – улыбнулся Лёня.

– Чего уж теперь говорить-то. – Мать покачала головой. – Ладно, Левонид, Петька-то тебе не надоел?

– Мы друзья.

– Гони, когда надоест!

Когда друзья надоедают – их надо гнать? Интересное кредо у моей мамы.

* * *

На следующей неделе уже совсем тепло, май, и на физре мы ничего не сдавали, но отпустить нас физрук просто так тоже не имеет права – дальше два урока еще, ну и в принципе никого не отпускают, даже если сдавать нечего. Физрук сказал: берите снаряды спортивные в кладовке, играйте во что хотите. «КВГ», добавил он, кто вот что горазд.

Все, конечно, в футбол. А я не люблю. Я попросил теннисную ракетку и мячик. Помешан на теннисе – ходил стучать об стенку у дома культуры «Каучук». Ракетки старые дома нашел – отец их не забрал (у него сейчас наверняка какие-нибудь фирменные, «хэдовские» или какие там еще есть импортные). Я не любил спорт, способностей к нему не имел никаких – мелкий и дохлый, именно что, – но тогда была целая туса великих теннисистов, которые к тому же выглядели как рок-звезды: волосатые, в щетине, темных очках, со всякими плейбойскими замашками по жизни...

Стучу я, значит, об стенку физкультурного зала нашего, чувствую – кто-то в спину смотрит. Ловлю мячик, поднимаю его – как профи: ракеткой прижал к ступне, резко рванул вверх, ударил сверху, поймал левой рукой – оборачиваюсь. Чернышков.

– Чо, говорю, в футбол не гоняешь?

– Да пошли они – играть не умеют, токо подножки ставят, уроды.

Понятно: выгнали. Небось задел кого-то и начал выеживаться на тему куда прешь, чем бьешь, щас тебе покажу и так далее. С ним, конечно, связываться не захотели – жаль время от футбола отрывать, – и просто послали. У него, понятно, все всегда виноваты.

– Хошь, говорю, постучать? – Мне плевать, у меня хорошее настроение.

– Давай.

Сейчас облажается, думаю.

– Щас-щас, меня учили...

Конечно: хватает ракетку неправильно, держит книзу головой и как черпаком бьет об мячик.

– Не, Черный, – говорю, – так удара сильного не будет. Техника неправильная.

– Да техника – это фигня все! Щас как размахнусь – улетит мяч на фиг! Это тебе, конечно, тяжело нормально ударить – ты ж маленький, слабенький...

– Ладно, бей. После звонка, – прервал я его, – сдашь ракетку и мячик физруку.

И пошел в раздевалку. Все равно звонок скоро. А я уже потный, как конь. Хотя куда мне – конь же большой, сильный... Кстати, надо не забыть передать капитану футбольной команды, Вовчику Жирному, слова Черного про не умеющих играть уродов. А то вроде не рыдал он на этой неделе, Чернышков-то.

* * *

Бегать я начал летом в деревне, после того как случайно посмотрел по телику интервью одного теннисиста, который рассказал, что был маленьким и дохлым и с соплями вечными, но однажды начал ни с того ни с сего бегать по утрам и делать зарядку. Ему, конечно, круто было бегать – у них там в Нью-Йорке парк здоровенный. У нас в Лужниках поменьше. А в деревне зато простор, хоть оббе-гайся. Я и начал. Утречком. Как проснусь. Все равно встаешь там рано. И – вниз по косогору, потому вдоль берега Оки, потом обратно. В гору. Потом действительно жрать хочется – а раньше в меня овсянка или манка не лезла, хоть ты сколько туда варенья вбухай.

Бабушка вначале удивилась, потом решила, что все равно мне быстро надоест моя причуда, как вообще все мне всегда надоест, потому что я несобранный и так далее... потом привыкла. Да, так теперь на завтрак я сжевывал и тарелку овсянки, и два яйца крутых. Вот к этому бабушка не сразу привыкла, к аппетиту такому, но потом как будто так всегда и было. Потом я себе еще турник повесил между деревьями. Стащил какой-то толстенный железный прут в колхозе на машинном дворе, навесил просто на ветки, алюминиевой проволокой замотал (у нас тут у всех «городьба» из алюминиевой проволоки).

Когда домой приехал 30 августа, мать сказала, меня не узнает, расцеловала в щеки, оставив мокрые блестящие следы, и потащила рост измерять. Я прибавил... я глазам поверить не мог! В прошлом году с таким ростом стоял бы на физре в середине строя, так что в этом... Да, но сейчас не прошлый год.

На следующий день я по привычке рано проснулся, стал собираться на пробежку, а где у нас бегать – не сразу сообразил. Но потом придумал. Вокруг двора сперва, потом дальше, по улицам.

В школе снова оказался в конце строя, но не настолько мельче предпоследнего. А тот ненамного меньше среднего Чернышкова.

Осенью мама сказала: надень хоть носочки шерстяные. Это, говорю, для слабаков. Ну да, согласилась она, ты теперь у меня крепкий. Не простудишься. И действительно – зимой вообще не болел. Впервые за пятнадцать лет жизни. Так и бегал до весны.

Весной на очередной физре опять сдавали подтягивания.

– Хорошев, – назвал меня физрук. – Давай на перекладину. Герой, штаны с дырой.

– Где? – Я оглянулся на свою попу. Все заржали.

Цирка ждут.

Я подошел к шведской стенке. На высоте метров двух с половиной – треугольная «ферма», перекладина. Обычно я вставал на вторую снизу ступеньку, но сейчас просто подпрыгнул, сразу крепко ухватил холод перекладины. Медленно подтягиваюсь. Раз. Еще. Еще. Рывок. Потом еще рывок. Тишина. Еще. Сколько-то... Уже тяжело. Уф. Интересно, на зачет сгодится?

Я разжал руки.

Пружинный скрип пола.

– Хорошев, – сказал недоверчиво физрук. – Ну это, пять.

Я кивнул, как будто так и надо. Сердце заходится.

Пошел период зачетов. Через неделю бегали на короткие. Я их провалил, получил тройка еле-еле, что меня, в общем, не очень удивило, но все-таки как-то неприятно задело: что, получается, просто так бегал?

На следующем уроке бежали на длинную. Это, типа, шесть кругов вокруг школы. Я пришел четвертым, что ли. Первым Вовка Жирный, но у него ноги длинные, ему бежать как ходить. А я еще когда финишировал, смотрю, трое всего тусуются, на финише-то. Добежавшие. Где остальные-то? А бегут еще. И действительно – всем как минимум еще один круг.

Физрук всех нас с секундомером отмечал, кто за сколько дистанцию осилил. На следующем занятии вызвал меня на середину зала и велел всем рассказать, как я вдруг стал таким спортивным (это он так сказал). Ну как, говорю, зарядка.

– С гантелями?

– Ага. Легкими. Отжимания. И душ ледяной.

Чего я буду все рассказывать-то – я ж не тренер. Но если хотят, как я, то пусть ледяной водой обливаются.

Физрук кивнул:

– Молодец, Петр. Иди в строй.

В строю после меня уже двое стоят. Прогресс.

Чернышков в раздевалке мне сказал, что я хоть и занимаюсь этой своей физкультурой, но все равно меня побить всякий может. Не может, говорю, я не дерусь, я пацифист.

Тут, кстати, вспомнилось, что Чернышков на днях что-то такое сказанул, что теперь вот прям точно – наезд на Жирного! Ну я и говорю, Вован, ты на Черного не обращай внимания – он фигню всякую говорит, забей болт.

– Чо говорит? – прищурился Жирный.

– Всем пока, – сказал Чернышков, схватил свою сумку из коричневого дерматина с трафаретным хоккеистом на борту и быстро-быстро вышел в коридор. Последний урок.

– А, ты не зна-аешь... – Я покачал головой с притворным сочувствием, а потом гаденьковеселым тоном посоветовал: – Ну тогда тем более забей!

– Иди сюда! – крикнул Жирный, распахнув дверь. Мы уже все переоделись, Жирный просто традиционно тормозил. – Лана, за базар ответишь! – И захлопнул дверь.

* * *

Детское слово «огонек» с прошлого года не употребляем. Говорим: вечеринка.

Эту вечеринку даже особенно пробивать не пришлось, и так всем было ясно, что какой-то праздник нужен. Классная даже сказала, типа, делайте свой огонек, только чтоб без эксцессов. Любят учителя такие слова, жесткие, неживые, лязгающие, словно ножницы.

Квинтэссенция (тоже учительское словечко): девушки, накрашенные так, что в темноте светятся, надушенные сладким, цветные лосины, каблуки по метру. В основном жутковато это все, как мне показалось. Но – волнует. Может, аллергия на духи, не знаю.

Вовка Жирный притащил какой-то ликер, который давал всем отхлебнуть незаметно. Мне тоже предложил с усмешкой. А чо, говорю, легко. И отпил. На секунду горло обожгло, но тепло внутри осталось. И как-то легко стало и радостно. Я даже танцевать пошел – быстрые, которые не люблю и не умею. А тут прям самому понравилось. Плясешь, подмигиваешь барышням, они тебе улыбаются, всем хорошо.

– Ты двигаешься – умора, – сказала мне Лама.

– Ты сама жаловалась, что мальчики не танцуют.

– Но ты за всех выступил, герой! Пошли курить.

– Пошли.

Сигареты у Оксанки. Она иногда за школой брала чью-нибудь сигарету «на пару тяг», но я не знал, что она уже со своими.

Мы все раскурили на крыльце. А что, сегодня не просекут учителя, даже если просекут – сегодня без палева. Время ж не учебное.

У меня от танцев и свежего воздуха голова закружилась приятно. Курить не рискну. Еще не пробовал, а закашляться от первой затяжки – это ж не круто. Потом как-нибудь. Потренировавшись.

А Оксанка меня спрашивает:

– Но, Пит, не куришь?

– Неа, – говорю. – Не нравится мне.

– Или боишься, что не вырастешь?

Мальчики обычно девочкам говорят «у тебя дети зеленые будут», но я не люблю известные шуточки. Придумал свою:

– Боюсь, но не настолько, насколько ты боишься еще больше разжиреть.

И захохотал. Кто-то усмехнулся. Встретился с Ламой взглядом. Она сквозь зубы прошипела:

– Ты офигел такое говорить, блин...

Оксанка протянула кому-то сигарету:

- Добейте кто-нибудь, я... – Она резко вздохнула. – Я пошла.
- Окса! – Лама ринулась за ней следом.

Мы с остальными курильщиками остались докурить и потереть. Эпизод с Оксанкой быстро выветрился. Вернулись в класс, я стал высматривать Ламу в темной толпе танцующих под что-то отвратительно-отечественное, вроде «Фристайла». Заметил ее в углу почему-то. Одна сидит, прикрыв глаза, увидел я, поближе подойдя. Тут музыка заткнулась наконец-то для перемены кассеты. Обычно у нас два магнитофона: с одного слушаем, на другом перематываем. Прямо диджейский пульт. Только с лентой.

– Наташ...

Она открыла глаза.

– Пойдем потанцуем.

Кассета включилась, но – фальстарт, не с самого начала песни, еще пять секунд на перемотку.

Я дотронулся до ее запястья, тонкого и в темноте особенно молочно-белого. Она отдернула руку.

– Не пойду я. Устала. И ты ж танцевать не умеешь.

– Ну да, гм, но если медленный...

– Фиг тебе. Я устала. Еще кого-нить пригласи, герой.

– Да и ладно, – чуть не крикнул я. – Да на фиг нужна вечеринка эта ваша... «огонек», блин.

«Ваш». Я-то как раз один из тех, кто всегда активно «огоньки» продавливал.

Ладно, все равно домой пора. Выпили, поплясали, хорош уже. Еще, правда, восьми нет, а раньше девяти нас не выгонят. Но все равно. Иду на принцип.

И ушел, как тогда говорили, по-английски.

Решил перед домом заскочить к Лёне (кстати, вдруг у него какой-нибудь ликерчик есть прикольный?).

– Лёнь, – сказал я ему с порога, – выпить есть?

– Ты чего это? – Его брови полезли вверх, сморщив бледный лоб в гармошку.

– Да так, настроение. Коньячку не накапаешь?

– Так, заходи.

В квартире у него мне стало жарко. Лицо горит. И дышать трудно. Из стоваттных динамиков тихо пищал какой-то колючий блюз с завываниями губной гармошки.

– Кто играет, Лёнь?

– Мадди Уотерс, но об этом позже. Ты чего это, нажраться решил, что ль?

– Не, говорю, я меру знаю. – Я вдруг икнул.

– Понятно. Сейчас тебе чайку заварю. Покрепче.

– Не, ну какой, блин, ч-чай, йик...

– Индийский. Краснодарского не держим. А то мать тебя такого выдерет ремнем.

– Н-не выдерет, я взз-росс-лый...

– Угу, заметил.

Лёня ушел на кухню. Я попытался вслушаться в Мадди этого Уотера или как там его и постучать ногой по паркету в такт. Типа, мне нравится. Стянул свою белую водолазку с горлом, забыв, что под ней старая майка-алкоголичка.

– Оголяешься? Правильно! – Лёня вошел, держа в руке гигантскую дымящуюся кружку.

– Лёнь, – спросил я, отхлебнув, – а вот если девочка с тобой то вежливая, то грубая, это что значит?

– Ну как минимум равнодушна. Но вообще что угодно. Женщины, понимаешь ли!

– Понимаю, – кивнул я.

Он снова усмехнулся:

- Хорошо, если понимаешь.
- Лёнь, – я поглядел на него, – а ты чо не женат?
- А зачем? – Он поморщился. То ли вопрос бестактный, то ли тема надоела. Или не понравилось, что я вдруг начал что-то такое выпытывать?
- Все ж женятся.
- Угу. А потом разводятся. Ни себе ни людям в итоге.
- Что ни себе? Ты про кого?
- Про вообще. Короче, на ком я хотел жениться, та за меня не пошла.
- А другая?
- А на другой не хотел. А вообще рано тебе о таких вещах думать. К счастью для тебя. Живи и радуйся. Еще наешься всего этого.
- Порадуешься тут, когда «банан» по химии в четверти маячит.
- Это не самая большая проблема в жизни. – Он кашлянул. – Хотя, конечно, ничего хорошего. Если ты, допустим, на химфак собираешься.
- Не на химфак.
- Тогда успокойся. Ты не дебил, и трояк тебе уж как-нибудь нарисуют. Никому не нужны выпускники с годовыми двойками.
- Фиг их знает – они вредные такие, учителя наши.
- Не настолько, насколько ты думаешь. Всех волнует личное благополучие, а не чужие проблемы.
- Лёнь, а «неравнодушна» – это, скорее, хорошо или, скорее, плохо?
- Это – шанс! От любви до ненависти, как говорится...

«Чифирек» Лёнин меня правда как-то в чувство привел. Мать ничего не просекла. Я сразу лег, но долго ворочался. Голова болела. Раз пять вставал попить из-под крана холодной. Стук в висках не унимался. Думал про Ламу и ее на меня наезды. Герой и все такое. А чего она от меня ждет-то? Чего вообще они от нас ждут? Девочки от парней, в смысле? Что мы будем эдакие рыцари? А сами-то они кто, блин, дамы, красавицы? Всему свое время, правильно Лёня говорит. Да, вы не красавицы, мы не герои, вы – губы красите, мы – матом кроем... Вы одеваете... нет, обуваете... нет, задеваете! мамины босоножки, мы же не вышли ни ростом, ни рожками... Ладно, сойдет для начала. Поэма о девушках десятого бэ. Ее б прочитать на Восьмое марта. Валяев бы прочитал круто, у него бас, а кривые рифмы мои никто не заметит.

Утром я вспомнил стишок и покраснел. С Ламой не разговаривал до одиннадцатого класса, когда все уже давно забылось.

* * *

Лёня уехал в Ленинград. Ленинград тогда же переименовали в Санкт-Петербург. Там, в Питере, он прижился. Я окончил школу, институт, пошел работать и так далее. А блюз так и не полюбил.

Дарья Протопопова



Родилась в Москве. Окончила РГГУ, кандидат филологических наук (МГУ), обладатель докторской степени по английской литературе Оксфордского университета. Член Союза писателей Москвы. Лауреат премии Gordon Duff Prize за работу о переводах Л.Н. Толстого (2008). Автор книги о роли русской литературы в творчестве ВИРДЖИНИИ Вулф: *Virginia Woolfs Portraits of Russian Writers: Creating the Literary Other* (2019). Победитель конкурса «Путь в литературу» Союза писателей Москвы (2018).

Победительница

Часть I

Фей Фей (или, как называли ее западные друзья, Афина, что совершенно не шло к ее милостивому восточному лицу) встала непривычно рано. Обычно на работу ей было к двенадцати: она работала кассиром в супермаркете, с надеждой на повышение до младшего ассистента менеджера. Глупая была надежда, подумала Фей Фей, проснувшись. Надеются на что-то

хорошее, а ассистент менеджера в заурочном Теско – благо весьма относительное. Когда работаешь кассиром, можно хотя бы иметь гибкий график: она всегда выбирала поздние смены, с полудня до восьми вечера, и наслаждалась ленью по утрам. Зарплаты хватало на одежду из Примарка, встречи с друзьями в недорогих барах и даже – один раз в год – неделю отдыха на Майорке. На всю эту роскошь зарплаты кассира не хватило бы, если бы Фей Фей снимала какую-нибудь комнатенку на самой окраине Лондона, деля крышу, кухню и ванную с пятью такими же неприкаянными, но снимать жилплощадь ей не приходилось. После гибели старшего брата в аварии (не буду об этом вспоминать хотя бы сегодня утром, подумала Фей Фей) она решила остаться жить с убитыми горем родителями. Дочернее великодушие не замедлило обернуться ей боком. Немного придя в себя после гибели сына (или, возможно, «заморозив» инстинктивно часть своего сознания), родители Фей Фей переложили свои амбиции на уцелевшего ребенка и принялись попрекать ее при каждой встрече на кухне – к ней в спальню они не поднимались – в отсутствии честолюбия.

– Мы приехали в эту страну ни с чем, даже языка не знали! – покрикивал отец семейства Куонг Ханг. – Смогли открыть ресторан, работали там с утра и до поздней ночи, чтобы тебя с братом на ноги поставить, у всех наших друзей из Гонконга дети уже врачи, инженеры, на худой конец, бухгалтеры. А ты? В память о брате могла бы поднатужиться! Он бы мог стать известным пианистом, выступать сейчас в Королевском Альберт-холле... На несколько секунд мистер Ханг замолчал, замечтавшись о будущем сына, несостоявшемся, а потому – бесспорно блестящем. Очнувшись, он устало добавлял:

Он приносил с собой нераспроданные остатки ароматных карри, лепешки наан, начиненные миндальной крошкой, печеные пирамидки самоса, пахнущие сельдереем.

– Хотя на курсы какие-нибудь пошла бы, бухгалтером стала. А то на кассе сидишь, семью позоришь. Фей Фей поначалу хотелось ответить не менее резким монологом о том, что родительскую вонючую забегаловку она в кошмарных снах видит, насиделась там у прилавка в детстве, и что врачом-терапевтом в Англии каждый бож может стать, парацетамол старухам выписывать, а на хирургов готовиться ни у кого из ее друзей не хватило на самом деле ни денег, ни терпения. Иногда ей хотелось еще прокричать сквозь слезы, прямо в лицо отцу, разве семья опозорилась не тогда, когда братец пьяным за руль сел и хлопнул себя так, что тело опознали только после медэкспертизы? Однако в последний момент она вдыхала, выдыхала и уходила к себе. К чему со стариками спорить? А злости на их несправедливые упреки («а может, отчасти, справедливые?», грызло у нее в сознании) не накопило достаточно, чтобы вылить ее на словах. Отсутствие амбиций – неизбежный спутник мягкотелости, мысленно подытоживала Фей Фей уже у себя в спальне, натягивая наушники и погружаясь в музыку азиатских бой-бендов – единственный источник китайского, который ее не раздражал.

Фей Фей спустилась на нижний этаж, прошла на кухню, насыпала себе в пиалу овсяных хлопьев, залила их молоком и начала неохотно есть. Завтракать рано утром, как и все совы, она не любила, но сделала над собой усилие: неизвестно сколько продлится это собеседование на работу, может быть, ее вообще попросят остаться на целый день. Невольно вспомнился брат, для некурильщиков Эндрю, для своих – Чун Хоу. Он любил вставать рано, шумно собирался в свой музыкальный колледж, хлопал дверями, отчего у них с Фей Фей происходили постоянные стычки. Однажды уставшая просыпаться ни свет ни заря Фей Фей не вытерпела и подлила в корни любимца Эндрю дерева-бонсай перекись водорода. Она думала, что раствор обожжет корневую систему и карликовое дерево зачахнет, а оно, наоборот, вдруг пустило новые листья после долгого периода отсутствия каких-либо признаков роста. Эндрю долго ходил радостный, всем рассказывал, как его любят растения, и Фей Фей тогда начала думать, как отомстить ему наверняка. А потом он погиб...

«Блин, я же настроилась не думать о нем сегодня!»; Фей Фей тряхнула хвостом длинных, черных, прямых, как бамбуковые стебли, волос. Но не думать об Эндрю на кухне было невозможно: холодильник пестрел выцветшими фотографиями его и сестры. Несмотря на то что со времени его гибели прошло два года, убирать их с глаз долой скорбящие родители, конечно же, не собирались. Кстати, его китайским именем, Чун Хоу, Эндрю никто не называл, кроме родственников в Гонконге. Даже родителям он виделся западным мальчиком, эдаким европейским принцем, призванным свыше к выполнению великой таинственной миссии. Как и его сестра, Эндрю рос тихим кухмистерским ребенком, помогал чистить овощи, лущить креветок, принимать заказы по телефону. Таких, как он и Фей Фей, называли в Великобритании *takeaway kids*: в 1980-е целое поколение детей выросло в ресторанах еды навынос, открытых иммигрантами из Азии. Поначалу мистер Ханг-старший отвечал на звонки, но англичане не понимали его акцента, и на помощь все чаще стал приходиться Эндрю, чей английский нельзя было отличить от речи коренных бледнолицых лондонцев. Мистер Ханг и его супруга отдавали последние деньги на уроки музыки для детей – неперенный символ успешной семьи для китайцев-экспатов. Афина терпеть не могла фортепиано: она с трудом запоминала ноты и завидовала Эндрю, который схватывал музыку на лету. Он все схватывал на лету, даже смерть, подумалось Фей Фей. Может быть, и к лучшему, что такие мысли приходят по утрам. Все эти сказки о том, как родственники погибших стремятся забыть о самом страшном, – это просто чушь. Наоборот, вспомнишь все самое болезненное с утра – и потом уже можно не бояться, что это всплывет где-нибудь в полдень, подкатит к горлу за обедом или, еще хуже, во время разговора с начальством. Пусть сердце сожмется от боли за завтраком, потом к вечеру хоть немного отпустит.

Кстати, об обеде. Наверное, лучше захватить с собой какой-нибудь еды, детский сад – это не супермаркет, где кассир может найти себе пропитание, не отходя, так сказать, от станка. Наверняка другие воспитатели носят с собой какие-нибудь дурацкие сэндвичи с сыром и ветчиной. Фей Фей открыла семейный холодильник: он, как всегда, был забит остатками нераспроданной еды. Тосты из креветок с кунжутом, рис, обжаренный с яйцом, холодные свиные ребрышки – вот закуска победителей. Когда Фей Фей училась в школе, она всегда ела в стороне от остальных детей, на пару с мальчиком-индусом, чьи родители тоже держали небольшой ресторан. Он приносил с собой нераспроданные остатки ароматных карри, лепешки наан, начиненные миндальной крошкой, печеные пирамидки самоса, пахнущие сельдереем. Его и Фей Фей дразнили вонючками, и хотя на обидчиков можно было пожаловаться и хорошенько проташить их по статье о расизме, Фей Фей даже дома об этих нападках никому не рассказывала, пытаясь быть выше них. Потом большинство обидчиков ушли из школы при первой же возможности, сдав экзамены о неполном среднем образовании; Фей Фей и еще кучка ребят остались доучиваться для поступления в университет. Фей Фей хотела стать учительницей математики, ходила на занятия по детской психологии, игровым технологиям, теории образования. Но после гибели брата учиться расхотелось, и так Фей Фей оказалась на бирже труда. Должность кассира была первой, которую ей предложили. В ее супермаркете все остальные кассиры оказались, как и следовало было ожидать на западной окраине Лондона, индусами, поэтому она продолжала ощущать себя чужой. Но потом привыкла и стала ходить на работу даже с радостью, горделиво кивая, когда какой-нибудь нерасторопный англичанин, пугливо извиняясь, просил ее подождать и отбежал от кассы за забытым хлебом или помидорами. Если бы не родители, она была бы готова проработать кассиром до старости лет.

За неделю до описываемого дня мистер Ханг положил перед Фей Фей за ее завтраком (по его представлениям – ранним обедом) смятую распечатку страницы из британско-китайской интернет-газеты.

– Вот, посмотри, – сказал он, по-стариковски тыча пальцем в обведенный шариковой ручкой кусок текста, – приглашают на работу воспитателей в детсад. Знание китайского обязательно. Наконец-то эти англичане поняли, что будущее за Азией!

Когда дочь меланхолично продолжила жевать свои овсяные хлопья, даже не ухватившись, как он рассчитывал, за заветный листок, мистер Ханг добавил:

– После этого списывать все на расизм у тебя уже не получится. Под лежащий камень вода не течет. И ушел на ресторанный кухню, дальше чинить постоянно ломавшуюся фритюрницу. На самом деле Фей Фей самой хотелось поскорее прочитать объявление, так как она не могла поверить, что вдруг в английском детском саду захотят преподавателей именно со знанием китайского. Но она сдержалась и взяла листок в руки, только когда отец начал греметь инструментами за дверью. Объявление действительно гласило: «Мультилин-гвальный детский сад “Новый мир” приглашает воспитателей со знанием мандаринского китайского. Минимальные требования: полное среднее образование, опыт работы с детьми. Успешный кандидат должен будет пройти проверку в Бюро уголовных дел, согласно Закону о работниках, имеющих дело с детьми и уязвимыми взрослыми». Опыт работы с детьми и сертификат из БУДа у Фей Фей уже имелись: поскольку она собиралась поступать в педагогический, ей пришлось волонтерить в местной начальной школе, где все волонтеры автоматически проходили проверку на наличие криминального прошлого. Учителя в школе были либо белые британцы, либо британцы афро-карибского происхождения: выходцы из Азии явно не стремились реализовывать свои карьерные амбиции на неблагодарной ниве школьной педагогики. Но Фей Фей не унывала: математика не знает цвета кожи, повторяла она, прочитав книгу Марго Ли Шеттерли о чернокожих женщинах-математиках, работавших в 1960-х годах в НАСА. Вдохновленная книгой, она провела беспечные две недели, помогая детям младшего школьного возраста решать задачки и учиться читать по слогам. Однажды в школе проводили утро открытых дверей, и те родители, кому не надо было идти на работу, хлынули в классные комнаты почитать вместе со своими детьми. Одна из гостей, белая англичанка, приняла Фей Фей за молодую мать, а когда выяснилось, что к чему, спросила:

– А что, в Гонконге трудно найти работу в школе?

Эндрю тогда еще утешал («да она, наверное, реально хотела проявить свой богемный интерес к чужим культурам!»), но для Фей Фей тот эпизод стал первой каплей.

Фей Фей утратила половину нераспроданного риса со свиной в пластиковый контейнер и уложила свой обед с привычной методичностью в маленькую термосумку. Выходить было еще рано, и она снова замерла в задумчивости. Может быть, не надо было принимать бездумно брошенную фразу какой-то мамы близко к сердцу? Мало ли что люди могут брякнуть, иной раз даже, как заметил Эндрю, из добрых побуждений. Но была же и вторая капля. Когда Фей Фей пришла в педагогический на день открытых дверей, молодой человек, стоявший перед ней в очереди за буклетами, обернулся, посмотрел на нее пристально и спросил, с типичной для выпускника частной школы идеальной дикцией:

– Погодите минуточку, дайте угадаю... Вы поступаете на курс учителей математики.

Когда Фей Фей, смутившись, ничего не ответила, он пригнулся к ее миниатюрной фигуре и притворным полупшепотом затараторил дальше:

– Ну и слава богу, Британии как нации уже никак не обойтись без помощи Китая, особенно в математике. Сам я в школе, кроме Шекспира и Баха, ничего не мог запомнить. Но нельзя же стране выехать на одной музыке. Вот спросите меня, сколько будет шесть на семь – ни за что не соображу. Ну, мне пора! Кончива!

И он ушел, похлопывая по ляжке буклетами, уверенный в собственной непревзойденности. Впрочем, были в человеческой массе и нормальные люди. Пожалуй, их было даже большинство. Но эффект, производимый отдельно взятыми субъектами, имел обидную силу незаживающего пореза. После второй капли Фей Фей расхотелось преподавать математику. После

смерти Эндрю, к счастью (неужели ей в самом деле так подумалось?), можно было уже ничего не объяснять, а просто забрать документы из педагогического.

Пора бежать. Вернее, бежать было не обязательно: автобусы в центр Лондона ходили по Uxbridge Road бесперебойно, с интервалом не более пяти минут, и в это раннее время пробки случались редко. Однако, выйдя из дома, Фей Фей уже не могла идти спокойно: сказывались годы беготни вприпрыжку за юркой миссис Ханг на уроки музыки и на занятия китайским по субботам. Даже когда Фей Фей уже начала ходить в среднюю школу самостоятельно (правда, чаще всего в сопровождении брата), на внешкольные занятия мать отказывалась отпускать ее одну. Она и в Теско была бы не прочь ее провожать, но Фей Фей убедила мать, что прямой автобус от дома до места работы является сравнительно безопасным способом передвижения – даже в Лондоне, даже при растущей с каждым годом поножовщине среди бела дня. О вождении машины она – по понятным причинам – не заикалась.

Автобус подъехал сразу: приятное совпадение, которое Фей Фей сразу распенила как добрую примету. Миссис Ханг, кладезь древних восточных суеверий, раздражала дочь постоянными присказками по поводу несчастливой цифры «4» и мандаринов, приносящих богатство; Фей Фей не верила в эти «бредни», но переняла манеру матери видеть в мелочах тайный смысл, особенно когда будущее нервировало ее своей неизвестностью. Поднявшись в автобусе на второй этаж, она с удовлетворением села на свое любимое место – на передний ряд, как на нос корабля. Улица виделась с этой верхотуры далекой массой тротуаров, витрин и уже спешащих там и сям людей – за всем этим можно было теперь спокойно наблюдать, мерно покачиваясь вместе с автобусом. Часть маршрута до детского сада, где проводилось собеседование, совпадала с дорогой, которую Фей Фей проделывала каждый день – на том же автобусе – по пути на работу в Теско. По обеим сторонам автобусного лобового стекла мелькала привычная смесь польских продуктовых магазинов, халяльных мясных лавок, английских букмекерских, еще закрытых в этот ранний час, аптек с выпирающими над ними зелеными крестами, зарешеченных даже в часы работы ломбардов и, конечно, супермаркетов всех размеров и мастей. Было бы, конечно, неплохо подняться над всем этим морально и социально, получив работу в сфере образования, подумалось Фей Фей. «Не смогут же они на меня косо посмотреть в этот раз, когда они сами написали, что им требуются носители китайского языка. Будет смешно, если на этот раз им не понравится, что я недостаточно хорошо знаю язык моих родителей. Впрочем, кто там сможет проверить? Не пригласят же они на собеседование со мной какого-нибудь коренного жителя Китая?»

Фей Фей заранее проверила профили сотрудников на сайте детсада. Про воспитателей там ничего не было написано, а вот про владельцев нашлось немного. Основала детский сад «Новый мир» еще в середине 1990-х годов английская семейная пара Джун и Ларри Томпсон; в 2012 году они ушли на пенсию, и главным менеджером детсада стала их единственная дочь Тиффани. В том же 2012 году сад перешел на метод Марии Монтессори, названный в честь создательницы известной программы раннего детского развития. Про метод Монтессори Фей Фей знала из занятий по психологии. Их преподаватель прозвал его «учением о застегивании пуговиц». Мария Монтессори, итальянка, скончавшаяся в 1950 году, верила, что главная задача детского сада – обучить ребенка самостоятельности в повседневных вещах – так, чтобы ребенок ощутил себя полноценной личностью. Отсюда в методике Монтессори шел акцент не на чтение и счет, а на практические занятия, типа мытья настоящей посуды настоящим мылом, забивание гвоздиков, открывание и закрывание баночек и коробочек, игру с заклепками, шнурками, молниями и, конечно же, пуговицами, пришитыми на одежду, растянутую на специальных рамках. Наиболее шокирующим элементом метода Монтессори была для Фей Фей игра с грязью, призванная разнообразить детский сенсорный опыт. Когда пластилин и песок надоел, гласила методика Монтессори, дайте ребенку покопаться в настоящей земле,

смешать ее самостоятельно с водой, с тем, чтобы малыш понял причинно-следственную связь сухое + вода = мокрое и липкое. Когда Фей Фей узнала об этой игре, ей сразу представилась реакция ее матери на подобные сенсорные эксперименты – крик, подзатыльник и строгий запрет трогать землю руками. Впрочем, удивляться не приходилось: многое, что еще недавно считалось вредным, ученые начали объявлять полезным, и наоборот, например, стало запретным плодом загорание на солнце без защитного крема – процесс, которым миссис Ханг продолжала наслаждаться жаркими летними днями у себя в палисаднике.

Фей Фей взяла одну игрушку – куколку с желтыми волосами из ниток и глазками-бусинками – и надела ее на палец. Сразу захотелось этим пальцем подвигать, заставить куклу согнуться, повертеться, поплясать, но в эту минуту вошла другая воспитательница.

Автобус миновал Теско, в котором еще номинально работала Фей Фей (она не стала никому говорить на работе, что идет на собеседование, просто взяла отгул), и поехал дальше в сторону центра. Скоро, помимо лавчонок и магазинчиков этнических меньшинств (Фей Фей всегда коробила эта формулировка, даже когда ее собственная принадлежность к «этническому меньшинству» гарантировала ей участие во всяких социальных опросах), начали попадаться пабы с традиционными английскими названиями типа «Принцесса Виктория» и «Бегущая лошадь» – знак приближения к черте оседлости английского среднего класса. По обеим сторонам дороги теперь тянулись сплошные, так называемые террасные, особняки, поделенные на квартирники, ибо даже английский средний класс не всегда мог позволить себе все четыре этажа и подвальный уровень – классическая викторианская планировка. Наконец на табло высветилась нужная остановка – St Luke's Church – Церковь святого Луки. По телефону Фей Фей сказали, что детсад располагался сразу за церковью, но она не сразу сообразила, что остроугольное сооружение из красного кирпича с металлической балкой, рассекающей здание посередине, могло быть объектом религиозного культа. Однако яркая голубая табличка на стене уверяла, что это здание, более похожее на крематорий, чем на храм, принадлежит англиканской епархии Западного Лондона. Фей Фей обошла церковь вдоль ее высоких глухих стен (как туда вообще свет попадает, подумалось ей) и сразу поняла, что не ошиблась адресом: из-за решетчатого забора, завешенного для безопасности зеленой маскировочной сеткой, доносился детский гам и громкие (но не злые) окрики воспитателей. Фей Фей немного помедлила – она пришла на полчаса раньше, чем нужно, – но, увидев направленную на нее камеру наблюдения, решила нажать на кнопку звонка.

Приветливая девушка-воспитатель с легким испанским акцентом провела Фей Фей в офис менеджера. – Подождите, пожалуйста, здесь, мисс Тиффани скоро подойдет, она проводит занятие в старшей группе.

И она оставила Фей Фей в крохотной комнатке, одну стену которой занимал календарь-планировщик на весь год, а другую – детские художества в виде листов бумаги с пятнами краски и наклепанными на них помпончиками, конфетти и разной другой развивающей детской воображение мишурой. Сквозь открытое по случаю теплой сентябрьской погоды окно виднелась асимметричная крыша Церкви святого Луки. На столе, три четверти которого занимали компьютер и принтер, стояла коробочка, доверху заполненная пальчиковыми игрушками – миниатюрными вязаными лисичками, зайчиками, мышками, фетровыми слонятами и поросятами, героями сказок и просто человечками. Фей Фей взяла одну игрушку – куколку с желтыми волосами из ниток и глазками-бусинками – и надела ее на палец. Сразу захотелось этим пальцем подвигать, заставить куклу согнуться, повертеться, поплясать, но в эту минуту вошла другая воспитательница. Фей Фей почему-то испугалась и спрятала куклу в кулаке. Вошедшая девушка ничего ей не сказала, даже не улыбнулась, а быстро отксерила какую-то картинку и вышла. Стерва, подумала Фей Фей, стянула куклу с пальца и положила ее обратно в коробку.

Через несколько минут в офис вошла высокая, полноватая блондинка в очках, пиджаке и брюках-стретч и энергично протянула руку Фей Фей.

– Доброе утро, доброе утро, – зашебетала она с несколько приторной нотой, как это часто делают люди, работающие с детьми и не всегда успевающие переключиться на взрослую манеру разговора. – Вы, должно быть, Фей Фей? Я правильно выговариваю ваше имя? А что оно значит? «То, как ты его произнесла, означает “бабуин”, но если произнести его нормально, оно означает “прекрасная”», – подумалось Фей Фей.

– Оно означает «красивая», – проговорила она в итоге. И заставила себя посмотреть Тиффани в глаза и улыбнуться.

– Как это мило, – продолжала щебетать Тиффани, но уже немного менее приторно, постепенно возвращаясь в роль офисного работника. – Меня зовут Тиффани, здесь все зовут меня мисс Тиффани, а если вы будете у нас работать, вас будут звать мисс Фей Фей: имена детям все-таки легче выговаривать, чем фамилии. Хотя, конечно, сейчас в Англии у детей бывают такие имена, что даже я не сразу с ними справляюсь. У нас есть мальчик из бенгальской семьи, его зовут Чандрадра-ра, что по-бенгальски означает «звезда», но мы с его родителями условились, что в школе его будут звать Чарли. Ха-ха!

Далее последовали неизбежные вопросы из разряда «Расскажите немного о себе» и «Почему, по вашему мнению, из вас получится хороший воспитатель детского сада». Фей Фей они напоминали колючий репейник, сквозь который приходилось грациозно продираться: не из врожденной способности расхваливать себя, а из-за боязни проколоться и неловко сморщиться, как воздушный шарик. Ей пришлось рассказать о своем волонтерстве в начальной школе, вспомнить пару примеров занятий, которые она лично провела с детьми. В памяти всплыли замки из втулок от туалетной бумаги и цветы из одноразовых картонных тарелок. В середину тарелки, выкрашенной в желтый цвет, приклеивалась белая бумажная капсула для кап-кейков – и получался традиционный вестник английской весны, нарцисс.

– Ой-ой! – Тиффани замахала с притворным ужасом руками. – Можете забыть про эти вечные втулки, аппликации, бесконечное копание в пластилине! Наши дети учатся жить в настоящем, а не придуманном мире. Куда полезнее вместо пластилина копать в настоящем тесте, наполняя им настоящие формочки для кексов. Вот и китайский мы решили добавить в нашу программу потому, что в настоящем мире без китайского скоро уже будет никуда не деться. Это я говорю как комплимент великой и трудолюбивой китайской нации! – поспешила добавить она и улыбнулась обоими рядами длинных белых зубов.

Фей Фей заставила себя улыбнуться в ответ («эти обнаженные зубы мне неплохо даются», пронеслось у нее в голове). Поймав ожидаемую улыбку, Тиффани продолжила:

– Главной причиной, по которой мы хотим ввести китайский для наших малышей, является, конечно, быстрый рост числа носителей китайского языка среди наших клиентов. В основном это успешные китайские бизнесмены, осевшие в Лондоне. Они мечтают, чтобы их дети овладели их родным языком.

Фей Фей стало немного страшно. По-китайски она, по мнению ее родителей, говорила с английским акцентом, читать традиционные иероглифы могла лишь отчасти – разве что похвастаться безупречным знанием китайского меню перед этими успешными бизнесменами?

– Мои родители из Гонконга, – сказала она, притворяясь немного оскорбленной. – В нашей семье мы говорим на путунхуа, или, как его принято называть здесь (и она чуть не сделала небрежный жест рукой в сторону окна), – мандаринском китайском.

– Вот-вот, как раз то, что нам нужно – мандаринский! – обрадовалась Тиффани, успевшая на секунду округлить глаза при упоминании незнакомого ей путунхуа. – Знаете ли вы детские песни на мандаринском? Типа английской колыбельной про звездочку?

К счастью, именно китайский перевод английской колыбельной про звездочку Фей Фей и запомнила, еще со времен субботней китайской школы, но не стала сознаваться в скудности

своего репертуара, переведя разговор на китайскую каллиграфию. Тиффани осталась в восторге. В конце недели, не найдя, наверное, большого количества желающих менять подгузники и вытирать сопливые носы с перерывом на китайские песни, она позвонила Фей Фей и поздравила ее с новой работой.

Часть II

Странное, однако, ощущение: всю жизнь стремишься слиться с большинством, пытаешься говорить на нарочито разговорном английском со сленгом, как заправский житель лондонских трущоб, чтобы потом тебя взяли на работу в силу твоей принадлежности к этническому меньшинству. Все школьные годы Фей Фей скрытничала о своих родителях, не хотела рассказывать учителям, а тем более одноклассникам, о том, чем они занимаются, терпела шутки о своих обедах в стиле китайского бистро. И тут ее просят рассказывать о своих предках-иммигрантах потенциальным клиентам детсада: мол, это повышает ее «аутентичность» как китайки. Миссис Ханг не могла нарадоваться, когда Фей Фей однажды спросила ее, нет ли у них дома каких-нибудь традиционных китайских украшений, типа красных фонариков с бахромой. На следующий день миссис Ханг вернулась из оптового китайского магазина с целым ворохом: новогодними свитками из красной бумаги чуньянь, декоративными деньгами гуйцзянь, вышитыми подвесками с пожеланиями благополучия, фигурками драконов и тигров. Все это Фей Фей преподнесла, немного стесняясь, Тиффани: та расхвалила дарительницу на утренней летучке и велела освободить один из детских стеллажей специально для «объектов китайской культуры». С условием, что «детки будут с ними свободно играть, развивая свои тактильные ощущения». Фей Фей сначала хотела возразить – как никак, бумажные обереги, хрупкие и заряженные взрослой символикой, недолго протянут в шаловливых детских руках, – но потом решила плыть по течению. Так к концу своего первого месяца на новой работе она заняла в иерархии воспитателей детсада почетное место специалиста по экзотическому и экономически востребованному Китаю.

Часть III

Франческу Тиффани сразу невлюбила. Была ли причиной этому ее худоба, о которой Тиффани мечтала, несмотря на своих многочисленных (но не очень постоянных) поклонников? Или волосы, очень удачно окрашенные в модную черно-белую гамму, благодаря которой довольно невзрачная француженка выглядела как известная поп-певица? Или ее хобби, которое она гордо обозначила в своем резюме: честное слово, кто о таком вообще пишет – танцы с обручами? Тиффани, прочитав резюме Франчески, забила в поисковую строку непривычное слово «хупинг» – и с удивлением узнала о существовании студий, обучающих взрослых и детей вертеть пластиковыми кольцами. Со времен детства Тиффани обручи стали еще более привлекательными: они переливались всеми цветами фольги и неона и даже светились изнутри. Тиффани даже потянуло записаться на пробный урок, но она представила себя вертящей обруч обтянутыми лайкрой бедрами и передумала. «Пусть француженка покрутит у нас в детсаду на дне спорта – не надо будет приглашать аниматора со стороны», – домовито рассудила она и наняла Франческу вести французский (а заодно, раз в неделю, и спорт) для малышей. Ведь за последние два года, вместе с ростом числа обеспеченных семей, в Лондоне открылись новые детсады – сплошь сады Монтеessori, билингвальные с французским языком, сады-студии, детские досуговые клубы, арт-ясли и тому подобные усовершенствованные инкубаторы. Чтобы выгодно отличаться от конкурентов, уроков китайского с Фей Фей, по мнению Тиффани, стало не хватать. Фотографии черно-белой Франчески и счастливых карапузов, увлеченно играю-

щих под ее руководством, могли послужить отличной свежей заставкой на сайте детского сада «Новый мир».

Часть IV

Наступила осень, вторая с момента поступления Фей Фей на новую работу. Постепенно забылись длинные вечера за кассой: автобус проскакивал мимо Теско, но Фей Фей даже не вспоминала об унылом супермаркете. Теперь ее голова была занята детьми в саду – их характерами, капризами, предпочтениями в играх и еде, именами их привередливых и дотошных родителей. По дороге на работу, глядя в запотевшее окно автобуса, она уже видела перед собой, вместо лавчонок и магазинов, знакомые глаза. Вот, например, трехлетний Зейн. Его родители, испанка и турок-мусульманин – очень красивая пара – решили, что Зейну легко даются языки. В результате они попросили Тиффани добавить в пестрый набор звуков, уже и так лопотавших вокруг их черноглазого мальчика, китайский – на случай, если Зейн захочет развивать бизнес в Китае, когда вырастет. Подобная дальновидность сместила Фей Фей, но Зейн ей нравился: в отличие от других детей, слушавших китайские песенки молча и насупленно, он старательно подпевал и быстро запоминал новые слова. Кто знает, подумала Фей Фей однажды, может, Зейн действительно пойдет по стопам отца, откроет автомобильный салон где-нибудь в Гонконге и женится на китайке. И будут у него дети – граждане мира, генетический калейдоскоп. Как и предполагается, собственно, в двадцать первом веке. Замечтавшись, Фей Фей чуть не пропустила свою автобусную остановку.

– Доброе утро, – сказала она, входя в классную комнату, неестественно тихую в этот ранний час.

Игрушки аккуратно покоились на полках, на полу ничего не валялось. Фей Фей не ловила себя на мысли, что сад ей нравился больше всего, когда в нем не было шумной оравы детей.

Франческа сидела, как обычно, на детском стульчике (и как она на нем помещается?) у стола посередине комнаты и что-то внимательно разглядывала на своем планшете. На приветствие Фей Фей она не ответила, но в ее ушах были наушники, и на этот раз Фей Фей обижаться не стала. Хотя вообще-то манера француженки пренебрегать простыми правилами вежливости раздражала. Китайцы тоже не особо улыбчивый народ, друг перед другом не расшаркиваются, но за годы подражания англичанам Фей Фей уже привыкла говорить всем при встрече неизменное «хау а ю» и улыбаться. Особенно широкой улыбкой она приветствовала Тиффани, а узнав о том, что у Тиффани есть обожаемая собака-нюфаундленд, Фей Фей стала осведомляться и том, как поживает ее «малютка». Франческу все эти тонкости этикета и кадровой политики не интересовали. Она никому не улыбалась, в учительской гардеробной, не стесняясь, раздевалась до белья, облачаясь после работы в пестрые лосины и майки, потом убегала, не попрощавшись, на занятия ху-пингом. Она подружилась с воспитательницами-испанками, потому что в детстве жила в Испании: как удалось узнать Фей Фей, у Франчески обнаружился бойфренд-диджей, родом из Голландии, и Франческа периодически ездила на его рейвы в разные города Европы. Каким образом эту «обкуренную» француженку занесло в английский детский сад, Фей Фей понять не могла. Но Тиффани неоднократно воспевала успех Франчески и ее номеров с обручами на днях открытых дверей («Франческа – главный хит “Нового мира”», – восклицала она), и Фей Фей оставалось только хлопать вместе со всеми.

В восемь часов утра все собрались на утреннюю летучку. Летучки проходили в комнате для старших детей перед старым пианино, на котором раз в неделю мать Тиффани миссис Томпсон проводила для своих бывших подопечных уроки музыки. Фей Фей пыталась на нем играть, но не смогла, к своей огромной досаде: слишком много времени прошло с ее занятий

фортепиано. Она подумывала возобновить уроки, но пока не решалась, боясь спровоцировать оханья родителей об утраченном виртуозе Эндрю.

– Всем доброго понедельника! – поприветствовала свою команду из восьми воспитательниц Тиффани. Девушки расположились кто на чем: большинство на круглом, в виде голубого с зеленым земного шара, паласе, Франческа осталась на своем стульчике. Фей Фей решила было постоять, облокотившись на подоконник (места на паласе не хватило), но ей не хотелось смотреть на Тиффани сверху вниз, и в итоге она уселась рядом с остальными на маленькую табуретку в форме грибочка.

Тиффани продолжила летучку обычным объявлением количества детей, ожидаемых в тот день; было несколько заболевших, поэтому одну из воспитательниц старшей группы решили «перекинуть» в младшую, где всегда находилось чем помочь: одни подгузники и бесконечные переодевания описавшихся детей в сухую одежду могли занять одного из воспитателей на целый день. Фей Фей вела занятия китайским в обеих группах, но была прикреплена к младшей. Помимо собственно занятий китайским, она помогала там другим воспитательницам, сопровождала индивидуальные игры по методу Монтессори, подавала завтрак и обеды. С Франческой она пересекалась один раз в день, когда та приходила к малышам проводить урок французского после их дневного сна.

Дальше все было как в тумане, похожем на тот, который застилал в то холодное ноябрьское утро лондонские улицы. Фей Фей, как обычно, провела свой урок в небольшом закутке за стеллажами. Зейн и его друзья послушно подпели китайским песенкам, посчитали на китайском до десяти, поиграли в игрушечную кухню. Фей Фей всегда возмущали разговоры о необходимости обучения детей домашним делам, особенно в области кухни: польза от этих занятий, по ее мнению, была сомнительная. Фей Фей считала (но, конечно, не признавалась в этом Тиффани), что домашние дела достигнут человека рано или поздно, так почему же к ним надо привыкать, когда в этом нет жизненной необходимости? Малыши не подозревали о ее наблевших фобиях и продолжали увлеченно мешать сухие макароны в миниатюрных кастрюльках и приправлять ракушки, разложенные по тарелкам, пластмассовыми овощами.

«Правила должны быть одинаковыми для всех, другим детям тоже запрещено разгуливать в масках, когда им этого хочется!» – воскликнула она и повела оторопевшего от слова «нет» Александра в «младшую» комнату разбираться.

После урока Фей Фей отпустила детей в свободное плавание по классной комнате. До второго завтрака оставалось десять минут. Вернулись в комнату с улицы те малыши, чья очередь была играть утром на свежем воздухе. Стало шумно. Воспитательницы, которых, помимо Фей Фей, оставалось в комнате три (одна англичанка, помощница менеджера, и две испанки), с трудом успевали следить за норовящими ударить, толкнуть, укусить – обычный утренний зоопарк. В комнату вошла Франческа, ведя за руку орущего мальчика из старшей группы. В общем гаме их никто не заметил, кроме Фей Фей, и потом, в их появлении не было ничего особенного: старших детей часто приводили в «младшую» комнату для разговора или просто так, превентивно, чтобы переключить их расшалившийся мозг сменой обстановки. Франческа присела на корточки поговорить с покрасневшимся мальчиком, который к тому моменту уже почти не стоял на ногах, а упиравшись, висел на ее руке. Александр (не Саша, родители настаивали на том, чтобы его звали полным именем) был сыном богатого английского бизнесмена и красавицы украинки. Его капризы уже никого не удивляли, да и сам Александр начал понемногу менять свое поведение к лучшему, осознав, что в детсаду, в отличие от его дома, он далеко не пуп земли. Но в то утро ситуация немного вышла из-под контроля. Александр отказался снять маску Человека-паука, так полюбившуюся ему за время празднования Хеллоуина. Франческа, на чьем уроке Александр должен был присутствовать после завтрака, взялась отобрать эту

маску у мальчика. «Правила должны быть одинаковыми для всех, другим детям тоже запрещено разгуливать в масках, когда им этого хочется!» – воскликнула она и повела оторопевшего от слова «нет» Александра в «младшую» комнату разбираться. Разобраться в общем шуме у нее не получилось, и она вывела Александра в коридор, а оттуда в туалет, отделенный от коридора маятниковыми дверьми, висевшими над полом на уровне колен. Фей Фей в это время проходила по коридору на кухню и хорошо слышала, как Франческа урезонивала малыша. Не повышая голоса, француженка рассказывала ему о том, как другие малыши обижаются и пугаются, если их друг вдруг начинает ходить в маске, да еще такой страшной, с прорезями для глаз и дыркой для рта. «Ведь они не знают, что это Саша, не видят ни его глазок, ни его кудряшек!» – приговаривала Франческа. «Вот коза, – подумалось Фей Фей, – а сама потом рассуждает о том, какой этот Александр гадкий, избалованный ребенок». Она вернулась в класс, оставив Александра наедине с француженкой.

Наедине! Вдруг Фей Фей осенило. Сейчас или никогда! Это был ее единственный шанс снова стать гордостью Тиффани – вторым помощником менеджера, главным рекламным пунктом детсада «Новый мир». Никаких больше шоу с обручами: только умиротворяющие уроки китайского, наиболее распространенного языка в мире. Отпросившись в туалет у старшей по комнате, она постучалась в офис к Тиффани. Франчески и Александра уже не было в туалете: мальчик, по-видимому, успел успокоиться и вернуться в класс. Но все равно, с детьми нельзя оставаться наедине, это правило знает каждый учитель. Войдя в роль обеспокоенной коллеги, Фей Фей шагнула в офис и плотно закрыла за собой дверь.

Разговор с Тиффани не занял у нее и пяти минут. Ей понадобилось лишь произнести слова «защита прав ребенка» и «что подумают о нас в УПСО?» (Управление по стандартам образования, Ofsted), как Тиффани побледнела и пошла звать свою помощницу для консилиума. Вдвоем они подробно расспросили Фей Фей о том, что именно она видела; Фей Фей с видимым сожалением рассказала, что Александр упирался, не хотел никуда идти и что Франческа буквально выволокла его в туалет. Кричала ли она на него? Нет, не кричала. Говорила ли она ему слова, унижающие достоинство ребенка? Нет, не говорила. А где сейчас Александр? Втроем они вышли из офиса и подошли к двери в «старшую» комнату. Через окошки в дверях было видно, как Александр спокойно играл на ковре с другими детьми. Следов стресса на его недавно залитом слезами лице не было видно.

– Но вдруг он пожалуется матери о том, как мисс Франческа отвела его в туалет? – заметила Фей Фей.

Тиффани посмотрела на помощницу.

– А что если кто-то из воспитательниц напишет анонимный донос? – заметила та, глядя в упор на Фей Фей.

Фей Фей потупила глаза и прошептала:

– Я даже не знаю, что сказать, я за детсад волнуюсь, а вы...

– Ну ладно, ладно, – поспешила загладить углы Тиффани, – здесь, к сожалению, ничего не поделаешь, придется Франческу отстранить от должности незамедлительно, так гласят правила УПСО. Фей Фей, вы можете вернуться в класс. Эмили, попросите Франческу зайти ко мне в офис.

Через десять минут Фей Фей видела, как заплаканная Франческа прошла через «младшую» комнату в учительскую раздевалку, вышла оттуда в пальто и со своими вещами и, не попрощавшись ни с кем, покинула детсад, как Фей Фей и рассчитывала, навсегда. С правилами обращения с детьми в образовательных учреждениях не шутят. На следующий день на планерке Тиффани напомнила о важности этих правил, особенно о запрете насильно вести детей за руку куда-либо, если только речь не идет о жизни и смерти, как, например, во время прогулки вдоль проезжей части. Несколько воспитательниц попытались заступиться за Франческу, начали вспоминать, как дети любили ее уроки и как быстро успокаивались после бесед с

ней, но Тиффани прервала их на полуслове и строжайше запретила какие-либо увещательные разговоры с детьми в туалете, даже если двери там не достают до пола и разговоры за ними не подходят под категорию «наедине». Строго говоря, не подходят, а в УПСО не будут разбираться про строго и не строго: просто придут с инспекцией, а зачем нам это нужно, рассуждала потом Тиффани в разговоре с матерью. «Ты все правильно сделала, дорогая, – успокаивала ее миссис Томпсон. – От этих французов всего можно ожидать. И потом я слышала, что в детсадах сейчас растет мода на арабский язык. Попробуй найти кого-нибудь преподавать малышам арабский на несколько часов – от клиентов не будет отбоя».

А Фей Фей в тот вечер гордо рассказывала родителям о том, как ее вот-вот сделают помощницей менеджера, а там и до старшей воспитательницы – рукой подать. В тот же вечер, засыпая, она вдруг вспомнила о брате – в первый раз за день – и ужаснулась, а потом стыдливо обрадовалась: значило ли это, что его призрак отпускал (или покидал?) ее?

Она не знала, радоваться ли этой свободе или жалеть о том, что брат начал уходить в прошлое. Радоваться, решила она в итоге: давно пора уже было перевернуть страницу. Нельзя же все время жить в чьей-то тени.

В декабре того года «Новый мир» стал первым детсадом на западе Лондона с уроками на арабском языке. Новая учительница, мисс Амна, родом из Саудовской Аравии, выиграла лондонский конкурс на звание лучшего учителя иностранных языков, и уже в январе ее назначили старшей воспитательницей в комнате для малышек. Фей Фей, не выдержав конкуренции с энергичной арабкой, вернулась работать обратно в Теско. О Франческе ничего не было известно, но спустя несколько лет Тиффани совершенно неожиданно увидела ее сидящей с сигаретой в зубах за столиком шумного кафе в центре Амстердама. На Франческе были все те же пестрые лосины, но от бело-черных волос не осталось и следа: на их месте красовались голубые войлочные дреды, усеянные бусинами.

Юлия Арсеньева



Родилась в Вологде. Окончила политехнический институт. Работала учителем математики, редактором и ведущей информационной программы на вологодском ТВ. Затем с друзьями создали первый в Вологде медийный холдинг «Премьер», где 17 лет занималась радиовещанием.

Конец романа

В это утро Иветт была очень взволнованна. Она вертела в руках маленький раскладной карманный календарик и с нетерпением ждала момент, когда сможет вклиниться в наш галдеж.

– Это подарил мне мой первый жених. Мне тогда было 14, ему 19. Его звали Франсис Рудьер.

Мы замерли, а я привычно навострила уши, чувствуя сюжет.

– О, мне тогда он казался совсем взрослым. Он уже успел побывать на войне и был ранен. Но в нашем госпитале он был потому, что у него нашли болезнь легких. Как это называется?

– Туберкулез?

– Да, туберкулез, и с ним мало кто общался. Мне было его так жаль! Он был совсем один, такой печальный и такой красивый, такой красивый! Мы стали встречаться, поцеловались всего один раз. Он был в госпитале три года, а потом уехал. На прощание он подарил мне этот крошечный календарик. Это реклама парикмахерской, где он работал до войны. Франсис был хорошим парикмахером.

– А что потом?

– Потом? Ничего. Мы больше никогда не встречались, но я часто о нем думала. Очень часто...

Иветт потеряла календарик в ладонях и загадочно улыбнулась. Это было еще не все!

Вчера ее подруга Сильви нашла Франсиса в Ля-Рошели. Иветт говорит, что Сильви надо работать сыщиком, потому что она найдет кого угодно, что угодно и где угодно.

Умница подруга нашла его номер в телефонной книге, позвонила и поинтересовалась у взявшего трубку мужчины, дома ли мадам Рудьер.

К сожалению, мадам уже несколько лет была в лучшем мире. Франсис жил один.

Мы бросились терзать рассказчицу вопросами. Поедет ли она к нему? Иветт пожала плечами.

– Не знаю. Прошло больше 50 лет. Узнает ли он меня? Все эти годы я о нем думала, но я не знаю, думал ли он обо мне хоть иногда. Не будет ли это выглядеть как-то неприлично? И, кроме того, что я ему скажу?

Я прекрасно знала, что ей сказать, и уже мысленно дописывала финальную сцену моего грандиозного романа.

«Он открыл дверь и сразу узнал ее. Женщина протянула маленький раскладной карманный календарик с рекламой парикмахерской, в которой он работал до войны в Алжире:

– Здравствуй, Франсис. Мне очень нужна хорошая стрижка!»

Чапа

Чапу мы нашли в лютые вологодские холода. Она лежала в снегу среди бетонных плит, оставшихся от строительства памятника космонавту Беляеву, и готовилась замерзнуть.

Скорее всего, в тот вечер мы провожали гостей после папиного дня рождения, потому что сначала прошли в одну сторону и только заметили собачку, а на обратном пути уже забрали ее с собой.

Жили мы в коммуналке, и обзавестись животным было как-то бестактно с нашей стороны. Поэтому рано утром мама выпустила отогревшуюся псинку на улицу в надежде, что она убежит, но Чапа пописала и вернулась обратно.

Потом мы не раз видели, как она сама открывала тяжелую подъездную дверь: хваталась зубами за планку одной половины, упиралась лапкой в другую, делала рывок на себя, а потом стремительно бросалась в образовавшуюся щель.

Соседи не возражали, собачка осталась в нашей квартире и получила имя Чапа за громкое клцанье когтями об пол.

Чапа была папиным дружочком и вечным подельником в ночном жоре и дневном сне. Они сворачивались клубком на тахте и похрапывали в одном регистре.

Папа всегда говорил, что в прошлой жизни Чапа точно была человеком. Она понимала речь, даже когда не видела лица говорящего.

Когда папа садился за фортепьяно, Чапа пристраивалась у ног и пела с ним «Скоро осень, за окнами август».

Она пользовалась большой популярностью у дворовых кабысдохов, особенно в период точки. У подъезда ее всегда ожидала группа лохматых товарищей.

В это трудное для всей семьи время папа брал Чапу на поводок и мазал белые шерстяные «штанишки-галифе» вонючим керосином, что позволяло держать кобелей на почтительном расстоянии.

Но однажды, влекомая зовом природы, Чапа вырвалась у меня из рук и убежала. Мама пошла ее искать.

На левом запястье у меня остались длинные розовые полосы от ее коготков. Я потом долго расцарапывала руку снова и снова в надежде, что это поможет вернуть Чапку.

Спустя много-много лет мама призналась, что Чапа погибла. Ее сбила машина прямо на маминых глазах.

Мама подобрала и похоронила Чапулю сразу же, рядом с местом трагедии, на стройке гостиницы «Спасская».

Недавно я встретила нашу Чапу в хорватском городе Пула.

Ха, она всегда умела открывать двери. Наверняка так было и в этот раз: Чапа схватилась зубами за планку, рванула врата на себя и проскочила в щель между ногами зазевавшегося Петра!

Я позвала. Собака тявкнула, потом подошла и доверчиво положила голову на запястье моей левой руки.

Юлия Казанова

Родилась в 1985 году. Живет в Москве. Окончила исторический факультет МГУ. Училась в Creative Writing School. Публиковалась в электронном журнале «Идиотъ» и на портале «Литература».

Башмаки, заведующий дождямии шляпа

1

Я помню, что развлечений было не так уж много. Брошенный тир, гигантский тополь, идущие мимо товарные поезда. Мы считали вагоны с нефтью и бревнами, падали с дерева, воображали мишени среди зарослей лопухов. Но чаще всего мы слонялись – не гуляли, не ходили к знакомым, не шли по делам, которых у нас, конечно, не было, а именно слонялись. Наша соседка из второй квартиры Эгле, старше нас лет на десять, командовала «бабы, за мной!», и начинался стотысячный обход поселка. Выходя со двора, решали – налево – и тащились по обочине в сторону старого кладбища и Барсуковой горы.

Жаркая погода держалась несколько дней. Мы волочили ноги, взбивая сухую придорожную пыль и превращая ее в серое облако. Выслушивали последние новости. Эгле рассказывала, кто был в костеле, кто не был, кто растит астры и гладиолусы на продажу, а у кого внук попал в исправительное учреждение. Еще прибыл новый доктор из города. Он поселился в деревянном доме с остроконечной крышей, гигантским яблоневым садом и двумя подъездными дорожками. На одной из них теперь стоял его мотоцикл.

Городской доктор. Занял целый дом. И прямо рядом с нами. Захватил сад. Наверняка уже начал важничать. Вот так история. Дальше мы слушали вполуха. И даже перестали поднимать пыль. Теперь мы то и дело отлучались с обочины в придорожную канаву, где по пояс в метелках, которые вытягивают, чтобы сгрызть нежно-зеленый внутренний стебель, искали сюрприз для чужака. Наконец нашли – припорошенные землей, сгинувшие пару сезонов назад, распадающиеся на части башмаки.

Эгле смеялась и говорила «ой, не могу», а для нас дело было серьезным. У нас наконец была мишень. Мы подкрались к дому врача, на улице никого не было, перепрыгнули через железную калитку, пригнувшись, проскользнули к отдыхавшему в тени мотоциклу и водрузили на его коляску грязную, одеревеневшую пару обуви. А потом бежали не оглядываясь – прямо до нашего двора, бросив прихрамывающую подругу. Влетели с разбегу на второй этаж. И то ли день был слишком жаркий, то ли мы слишком пыльные и возбужденные, но дед объявил поход на озеро.

Еще событие, и все в один день! Мы снова шли по делу – теперь из двора направо: переходили железнодорожный переезд, миновали развилку, оставляли слева костел, справа моленную. Потом было три горы с приклеенными коровами на склонах и зарастающими песчаными колеями. С последнего холма бежали – под ним начиналось озеро, словно аккуратно вырезанное по береговой линии из фольги, сиявшей на солнце.

Мы передевались, прыгали в воду, доплывали до цветущих белых лилий и желтых кувшинок. Нырjali в холодную черную глубину и через пузырившуюся зелень возвращались на поверхность. Плыли к берегу, скакали по пояс в воде, звали деда купаться. И в этих брызгах отражались вагоны и деревья, яблоки и астры, дворы и калитки, в них объединялся весь маленький летний поселковый мир. Не отражался только доктор на своем мотоцикле с коляской. Потому что этот мир принадлежал нам. Чужакам там не было места.

2

Следующий день был днем без происшествий. Из них для нас и складывалась канва каждого лета – из одинаковых, бесконечных дней, которые длились и длились. Казалось, их производили на конвейере.

Мы проснулись, перекинулись приветствием через книжный шкаф, который разделял наши постели – диван и тахту, вскочили, позавтракали. Вышли во двор. С нами были растерявшая яркость выбивалка и свернутый в трубочку бурый ковер. Мы набросили ковер на железную перекладину и начали выстукивать по нему неспешный ритм неизвестной песни. Ковер колыхался, отпуская на волю скопившуюся пыль. Потом пыль кончилась, но мы все продолжали выстукивать свою мелодию. Так и стучали, пока ковер не соскользнул и не лег на траву – неровной волной, мы сели на него и представили, что летим прочь со двора...

– Давайте его обратно, – приказывала бабушка в вечно открытую форточку.

Мы скатывали ковер вместе с прицепившейся травой и устремлялись наверх. Скидывали ковер в прихожей. Получали эмалированную кружку, шли за ягодами для компота – сначала на ближний огород, потом на дальний. Возвращались обратно – мимо старого тира и высокого тополя, мимо сажелки и зарослей шиповника, твердые плоды которого уже начинали рыжеть. Обходили сараи кругом, смотрели на соседских кроликов. В этот раз поднимались на второй этаж как в замедленной съемке, чтобы растянуть время, по дороге проверяли все четыре почтовых ящика – одна газета, ноль писем, добирались до квартиры, открывали дверь, ставили на трюмо металлическую кружку с ягодами. Звяк. Сами оставались в подъезде. Коричневая дверь с номером восемь захлопывалась. До обеда дел больше не было.

Казалось бы, день, в который ничего не случилось. Но вот я потянула воспоминания за ниточку, и на меня обрушивается целый шкаф предметов и ощущений. Тут нет продуманного действия, как и в том лете, о котором я говорю. Оно бессюжетно. Мы были предоставлены сами себе. Мы бродили без дела. Маршрут в сторону станции. Вот побеленный глинобитный дом старухи Мамзелевой, чьи куры без спроса заходят в наш двор, вот дощатый бордовый дом женщины с беспорядочными крашеными кудрями, она живет с кривой, вечно завывающей собакой. Вот вросший в землю салатный дом с брошенным огородом. Я до сих пор помню этот маршрут наизусть. Помню и это чувство – бесконечного дня в одних и тех же декорациях. Сейчас таких дней больше не бывает, как нет и большинства вещей и некоторых героев этой истории. Хотя доктор наверняка еще жив. Может, пора проведать доктора?

Так думали и мы с сестрой тем далеким летом. Нам было интересно и страшно. Интересно, важничает ли он теперь, обнаружив черную метку на своем мотоцикле? Страшно – а вдруг он нас видел и узнает? Мы дошли до станционных складов. Возвратились коротким путем через кочки и овраги. Снова прокрались к саду доктора – мотоцикла нет, ботинок тоже.

Мы наблюдаем за солнцем. Когда оно касается верхушки ели, которая одиноко растет в поле и видна с нашего балкона, возвращаемся во двор. Идти за молоком рано. «Только бы завтра пошел дождь», – думаем мы, а может, говорим вслух. Пока нет дождя, мы все время на улице. Это какой-то особый договор, который заключила бабушка с кем-то, кого мы не знаем, договор, которому мы безоговорочно подчиняемся. Поэтому мы обращаемся к заведующему дождями. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О, заведующий дождями!

По двору вдруг растягивается шланг – от окна второй квартиры в сторону клумб и огородов. Эгле открывает кран. Шланг оживает, и его конец пляшет, выплевывая воду на траву. Мама Эгле начинает вечерний полив: огород – грядка за грядкой, теплица с помидорами, потом клумбы – розы, пионы, гвоздики. Воду никто не экономит, вместо твердой серой земли оставляют мягкую и черную с лужами. Потом шланг передают нам, мы можем полить клумбы нашего

подъезда. «Аккуратно, цветы, не лейте сверху, не побейте бутоны, не ломайте листья». Но даже этот постоянный надзор не мешает нашему счастью. Мы запускаем струи в воздух – они опадают каплями, поливаем друг друга, оставляем глубокие следы в земле, заполняем их водой, меняем цвет камней с сухого на мокрый. Цветам тоже достается.

Утром мы просыпаемся под перестук дождя. Он бьет звонко в стекло, глухо в жестяной подоконник. Мы наконец-то остаемся дома. Можно читать, разбирать открытки учеников – бабушка и дедушка бывшие учителя, перебирать старые фотографии, нюхать дедовы сигареты в баре, мечтать о том, чтобы вырасти и начать курить «Клайпеду». Дожди в Литве идут несколько суток подряд. Когда дождь кончится, будет день, дед возьмет нас в библиотеку, в лес или снова на озеро.

Спасибо, заведующий дождями. Твоя мишень – серый двухэтажный дом по Тильжанской улице. В нем два подъезда, четыре балкона и восемь квартир. Не промахнись.

3

Точно так же не должна промахнуться моя память. Потому что тем летом я нашла свою шляпу. И потому что в подъезде лестниц было две. Одна – наверх, к свету. Другая – вниз, в темноту.

К свету мы поднимались по много раз за день – попить, поесть, занести библиотечную книгу, передать собранные ягоды в железной эмалированной кружке – на дне крупная клубника и крыжовник, сверху завиток красной смородины. Вечером дневной свет подъезда сменялся электрическим. И мы летели на него, как непутевые, беспокойные мотыльки, – найти кофту, взять бидон в кладовке, обуться. Потом возвращались с молоком и уже навсегда. Сидели на кухне и смотрели на поселок, переживший еще один день. Поселок состоял из сумеречных клумб, сараев, огородов, нового района и светящихся прямоугольников окон – у тех, кто тоже не спал.

Вторая лестница всегда была темной. Справа был выключатель – весь в побелке или в крошках осыпавшегося раствора. Он зажигал хилую лампочку внизу за поворотом, которая не справлялась с темнотой, скорее, чуть-чуть ее растворяла. Загорится – и, если никто не видит, можно спускаться, хотя вообще-то не по себе. Одна ступенька, две, три, ноги чувствуют шершавый холод бетона. Он кажется потусторонним после раскаленного двора с пятном пузырящейся на солнце смолы... Последняя ступенька, поворот, провал коридора с деревянными ящиками и облезлыми дверями. Подвалы! Мы проверяем каждую дверь, все – заперты...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.